

КОСТЯНОЙ ПЛЕКТР ДЛЯ ТЕРПСИХОРЫ



18+

АНТОН
КУЧМАСОВ

АНТОН Кучмасов

Костяной плектр для Терпсихоры

«Издательство Интернационального союза писателей»

2026

УДК 82.161.1(051)
ББК 84(2Рос=Рус)6

Кучмасов А.

Костяной плектр для Терпсихоры / А. Кучмасов — «Издательство
Интернационального союза писателей», 2026

ISBN 978-5-6055644-7-8

Какая девочка не мечтает в детстве стать балериной? Но каково это — попасть в плен к древнегреческим богам Аполлону и Терпсихоре и стать проводником их воли в современном балетном мире? Как отреагируют на появление посланницы древних богов нынешние покровители хореографии? При чём здесь Чеширский кот и кто такой загадочный Он? Что на самом деле скрывает занавес Большого театра и что будет, когда квадрига над его портиком начнёт своё движение? История становления балерины приоткроет вам все эти тайны, а может быть, сделает вас их соучастником. Содержит нецензурную брань!

УДК 82.161.1(051)

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-6055644-7-8

© Кучмасов А., 2026
© Издательство Интернационального
союза писателей, 2026

Содержание

Предисловие	8
Пролог	11
Глава первая	13
Глава вторая	36
Глава третья	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Антон Кучмасов

Костяной плектр для Терпсихоры

© Антон Кучмасов, 2026

© Интернациональный Союз писателей, 2026

* * *



Антон Кучмасов родился в 1979 году в Москве. В 1997 году окончил Московскую государственную академию хореографии (ранее Московское академическое хореографическое

училище). Был принят в Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва, где танцевал как кордебалетные, так и сольные партии. Параллельно с этим обучался по специальности «педагог-хореограф» в Российской академии театрального искусства (с 2015 года – Государственный институт театрального искусства) на кафедре хореографии балетмейстерского факультета. Там же окончил аспирантуру. Двадцать пять лет преподавал классический танец, а также постановку и композицию танца в вузах Москвы.

Кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов артистов балета и хореографов.

Автор романов «Чуть выше уровня ветра», «Роман № 0», либретто и сценарного плана к балету «Тимур и его команда».

* * *

Все персонажи, места, их названия, организации, их аббревиатуры и сокращения – плод воображения автора. Любое совпадение с реальными людьми, местами, названиями, организациями, их аббревиатурами и сокращениями случайно. Употребление алкогольной продукции и табачных изделий героями романа не является пропагандой и служит лишь художественным приёмом для раскрытия образов и внутреннего мира персонажей.

Предисловие

Красные башмаки русского Андерсена

Есть одна сказка Андерсена – «Красные башмаки». Девочка надевает их, и они в безудержном танце несут туда, сами не зная куда. Это фабула романа о девочке Лизе, чей танцевальный талант замечают – и куда это ведёт её, точнее, несёт. И – уносит. У Ханса Кристиана есть ещё одна сказка. Про гадкого утёнка. И Кучмасов в этом плане – как русский Андерсен, потому что и его героиня мечтает превратиться в белого лебедя.

Роман построен в декорациях конца 1980-х, без купюр и «косметического ремонта». Где не мечтают о марсианских помидорах. Где отчаянно ждут «Зарю», именуя так пианино. Где пахнет столовскими котлетами и всеми выделениями испуганного организма. Грязный снег, давка в метро, антиэстетика. Поколению Y (миллениалам) хорошо знакомо такое: «Кадр – теперь я в костюме снежинки у ёлки. Следующий кадр – я в пачке из тюля изображаю балерину. Я знаю, что этих фотографий не существует».

Маленькая Лиза Большакова по-настоящему хочет больших ролей. Оправдывает говорящую фамилию. Шаг за шагом – и каждый шаг её семимилен. Допрепетиция до нервного смеха и забытой на морозе бабушки, сбрасывание проклятия «серой мыши», Италия – она добивается всего. На полумеры Лиза не согласна никогда: «Если не в Большой, то и неча в балерины». Слово если не будет этой мечты, хоть в канаву с бутылкой, как отец, ибо «неча» больше терять. «Внешняя твёрдость – будто обманка: стоило первый раз взять её в руку, отдать ей капельку своего тепла – и лепи что хочешь. Или это она вылепит из тебя что-то или кого-то по своему разумению?» – незамутнённым «внутренним чувствилищем» на первом занятии Лиза ощущает станок.

И она ещё не знает, насколько права. Дети из дисфункциональных семей умеют распознавать малейшие изменения эмоционального климата. Неслучайна сцена, где пьяный отец не замечает потопа, вследствие чего паркет запузырится и станет непригоден – не то что для танца, но и для шага. «Моя комната слишком маленькая, чтобы чувствовать себя большой», – мыслит Лиза Большакова, не чуя себя собою. Ей в пору сцена Большого и не давка в метро, а самая что ни на есть Аполлонова квадрига. Ещё бы – когда послевкусие первого занятия перешибается отцовским «вдруг бывает только понос», а встреча после итальянских гастролей оборачивается тремя похоронными гвоздичинами, побег становится делом времени.

Покровительница Терпсихора подарит Лизе всё, что та захочет. Но это будет лишь казаться выбором Лизы. Это всегда будет выбор музыки. Вот сама заносчивая Вера, выбирающая лишь статусных подружек, трётся о прежде неинтересную ей Лизу, как преданная шавка, и постоянно пишет подле неё, повторяя охранительную формулу: «Я люблю тебя просто как друга, ну коне-е-ечно». Терпсихора может заполнить пустую «бабашку» живительным эликсиром – вдохнуть лёгкость виллисы. Will-иса. Волею своей. И потребует цену. Саму жизнь: «Все бывшие артисты балета имели неопределённый возраст...» Друзей – их нет, есть конкуренты и прилипалы. «Кто из моих одноклассников жертвенно, фанатично, как я, пришёл сюда... отдать свою жизнь Терпсихоре?» – Лизин риторический вопрос. По античным законам. Око за око. Жизнь за жизнь.

Получи жизнь мечты, отдав музе всю свою жизнь, до последней капли пота и крови «костлявого мяса, варева для богини». Так не осторожными ли молитвами являются царпки оскорбления Вороны, обращённые к ученицам? Может, ещё не поздно оттолкнуть станок, залечить волдыри и радоваться жизни? Но андерсеновские «красные башмаки» – пуанты, алые от крови, – уже начали свой дьявольский танец, и ничего не остаётся, как всё же перестать путать деми-плие с гран-плие.

Литературный язык Кучмасова сам по себе – искусная хореография. Хоть книга и внушительного объёма, глотать её хочется жадно, как воздух после занятия балетом. Сидим же мы, часами безотрывно вглядываясь в Историческую сцену Большого, где порхают прекрасные прототипы Лизы, – вот так и эта книга: сквозь какие бы закоулки ни пролегал сюжет, мы летим вместе с героиней в её пуантах, выполняя её па, – все главы называются именно в их честь. И мы вспоминаем, откуда и куда убежали сами. И убежали ли.

Так убежала и бедная кошка – самый страшный символ романа. В её мутных зрачках Лиза видит саму себя. Неотвратимое будущее, как поезд – кошку, рассекает её жизнь на «до» и «после», и красная нить тянется за пуантами. Как викингам служили талисманами когти диких зверей, таким становится для Лизы и коготок мёртвой кошки. От собак, от Вороны, от провала на экзамене. Кумир Лизы, экс-прима народного ансамбля Алёна, говорит о чуде: «Оно разделит твою жизнь на „до“ и „после“ и отрежет от тебя предыдущую жизнь». Поезд, в котором пассажиром не уехать. Можно стать только Карениной от мира балета.

Главным соратником становится Ника, символ победы, – ведь только сильный конкурент-зеркало может помочь стать лучше. К слову о зеркалах – оммаж Л. Кэрроллу и Е. Шварцу есть и здесь. «А если на той стороне живут Амид и Азил и кошка Ясум?» Та Сторона может не пригласить в гости, а лишь забрать навсегда. Поездом. Правда, нужно попасть не в него, а под, что и случается с незадачливым Димкой. Как и перерезанная поездом тощая кошка, это снова отражение самой Лизы. Ведь Терпсихора тоже живёт За Гранью и если забирает, то навсегда и целиком, оставляя этому миру лишь «костлявое мясо». Та Сторона манит и тянет Лизу к себе – это другой берег Москвы-реки, это любое «не здесь». Это и сон, где происходят встречи с Терпсихорой, и инициация, где Лиза просит на неизвестно откуда взявшемся в её сознании чистом греческом: «Дай мне несовершенство, чтобы люди могли любить меня, не возводя на пьедестал».

Меченные музой узнают друг друга по походке и взгляду. «Те, кто на сцене, – такие же зрители. И чем быстрее ты это поймёшь, тем лучше для тебя», – устами кумира Лизы, Алёны, звучит голая правда. Правда-стриптизёрша с шестом, что лишь перевёрнутый станок. И мы понимаем, что ни тысячи мозолей, ни десятки сношенных пуантов, ни все пятёрки по «классике» не спасут. Ремесло с человеком худо-бедно – фантомной памятью и выработанным навыком – останется. А вот искусство – не игра в театре, а *служение на театре*, вышняя воля Музы священна, и пути её неисповедимы, потому что в этом и есть Он.

Неслучаен в названии предлог «для»: в нём звучит глагол «длитель», «продлевать». Как и любая жрица любого искусства, Лиза – не более чем костяной плектр, древний медиатор для арфы Терпсихоры. Пока есть плектры – а они заменяемы, – Терпсихора будет играть. Лиза сама и есть подношение. Да, она – не более чем плектр. Но и не менее чем всю себя она отдаёт музе, не делая ставки на мирское и полностью отторгая его. Как выясняется, и верно – ведь сливает информацию конкурентке человек, на которого и подумать было бы невозможно... И пока кошачий коготок – мини-плектр, роднящий Лизу с музой, – висит на её груди, всё у неё хорошо. А потом коготок стирается из сюжета и Лизино быта.

Это роман-путешествие в красных башмаках «туда», на Ту Сторону. Без «обратно». Обратно можно вернуться лишь в сладких дымных облаках мнимого хеппи-энда. Это роман-притча: притчи существуют искони, их обожают читать и коллекционировать, но редко когда сопоставляют их теорию с практикумом жизни. Это притча о том, что служение Высшему не терпит полумер. Маленькая Лиза, как помним, полумер тоже не терпела, оттого Терпсихора и сделала ставку на неё. Но однажды Лиза выросла и решила попробовать кроме сигарет и алкоголя ещё и запретный дурман полумер, что и погубило её. Это роман-вопрос. Среди нас много творцов. И мы служим своим музам. Что выберем мы? Что для нас станет личным «Большим театром» и какой будет цена? Это не досуговое чтение «на разок». Будет очень больно и неизменно завораживающе. Как танец маленькой балерины в той самой, из детства, музыкальной

шкатулке. Предашь говорящую фамилию – замолчишь. Крышка шкатулки захлопнется над тобой, и никто не откроет, чтобы по-настоящему Услышать. Пустить в уши звук, а в глаза – «Лебединое озеро» – может быть бисерным дождём перед свиньями, которые мечтают рассказать в родном хлеву, как хрюкали в Большом.

И вот мы знаем о цене больше, чем хотели знать. И цена эта – полная потеря связи с реальностью, погружение в миф от кончика пуантов до плотно зализанного пучка на голове. Закрывается книга, где-то открывается дверь в освещённый спортзал. Или в местное лито. Или в кружок лепки из глины. Перед каждым из нас – своя. Время сделать выбор. Но там обязательно будут ждать чёртovy красные башмаки.

*Стефания Данилова,
поэт, кандидат филологических наук,
основатель продюсерского центра «Всемпоззии. рф»*

Пролог

Я прижимаюсь лбом к холодному стеклу – передо мной огромное окно спортивного зала моей дворовой школы. Оно мгновенно запотеваает круглым матовым пятном у меня перед глазами. Я отстраняюсь от него, стягивая зубами мокрую вязаную варежку с руки, – варежка, вся в белых снежных катышках, словно в ледяном репейнике, безвольно повисает на резинке. Я провожу ладонью по стеклу и снова прижимаюсь к нему в попытке разглядеть, что происходит там, внутри, в этот субботний декабрьский вечер.

Уже стемнело, и будто сами собой в нашем дворе зажглись тусклые редкие фонари, отбрасывающие ледяной свет. Совершенно нет ветра, оттого синие снежинки, медленно падающие на землю, кажутся тяжёлыми и задумчивыми. Внутри спортзала, посередине волейбольной площадки, на стуле сидит юноша и внимательными, усталыми глазами смотрит на мальчишку моих лет. Тот в одних трусиках выделяет перед ним какие-то смешные и нелепые па. Это сложно назвать танцем, но юноша серьёзен, ведь мальчик старается. В дверном проёме, по всей видимости, замерли его родители. Держа в руках его одежду и зимние валенки в галошах, они одними лишь глазами переживают за сына, боясь пошевелиться, как будто даже малейшим движением собьют его с ритма, который выстукивает юноша, ударяя себя ладонью по ноге. Квача монотонно, будто подчиняясь неслышному ритму невидимого метронома, капает с галош на крашенные в жёлтый цвет доски пола, но родители не замечают бурой лужицы, растекающейся внизу. Они пристально следят за ногами сына – бледными, жилистыми, тощими и непомерно длинными для его возраста.

На деревянной узкой лавочке, стоящей у противоположного окна, сидят дети – мальчики и девочки. Так же как и танцующий мальчик, они все в одних трусиках, прижимаются синюшными телами друг другу и испуганно, но внимательно смотрят то на его танец, то на юношу на стуле. Они напоминают мне костлявых, полудохлых цыплят, лежащих в ряд мёртвыми тушками на грязном прилавке нашего гастронома. Из таких мама по субботам варит бульон, предварительно отрубив им головы и жёлтые когтистые лапки.

Я делаю шаг назад и поворачиваюсь. Очень хорошо помню тот вечер, тот первый раз, когда увидела Его. По-моему, это произошло именно тогда. Он стоял на противоположной стороне улицы и смотрел в мою сторону. В тот момент я не смогла как следует разглядеть Его – лишь чёрный силуэт и ощущение взгляда, пронизывающего меня, как холод этого зимнего московского вечера. Странно, я совершенно не видела Его лица, но точно знала: Он смотрит именно на меня. С этой минуты, с этого мгновения Он всегда будет смотреть только на меня. Чуть повзрослев, я часто спотыкалась о мысль, что абсолютно не помню себя до встречи с Ним. Как будто до этого момента меня совершенно не существовало. Во всяком случае, для Него, в Его поле зрения. Так, отрывочные блики воспоминаний, как вспышки отцовского фотоаппарата. Кадр – я, совсем маленькая, на руках у матери. Кадр – теперь я в костюме снежинки у ёлки. Следующий кадр – я в пачке из тюля изображаю балерину. Я знаю, что этих фотографий не существует. Может, и существовали когда-то, но сейчас, по прошествии времени, затерялись где-то на просторах моей биографии, а может, всегда были лишь застывшими и выдуманскими картинками у меня в голове. Но даже они со временем стираются, а некоторые и вовсе исчезают, как ненужные, прожёванные умом глупые мысли. Может быть, они и есть мои мысленные фантазии из далёкого детства? Может быть. Я никогда не была уверена на этот счёт. Я смотрю на Его неподвижный силуэт и ощущаю непонятное душевное спокойствие. Спокойствие. Я не была знакома с этим ощущением до встречи с Ним. В нём хорошо. Время течёт медленнее, и голубые снежинки как будто замирают, на мгновение повиснув в воздухе пушистыми каплями.

– Куда ты смотришь? – Отец подходит ко мне и вглядывается в сторону чёрного силуэта, но видит только фонарный столб, покосившийся то ли от времени, то ли от обиды на людей,

которые уже давно не замечают его треснувшего плафона, из-за чего свет от старой лампочки словно разламывается пополам, подобно его сознанию, внезапно понявшему, что появилось у этой полусгнившей деревяшки.

– Никуда, просто задумалась, – с ходу вру я, и история фонарного столба прерывается так же внезапно, как снегопад этим вечером. – А что там такое?

Я указываю на окно спортзала.

– Там? Не знаю. Ты хочешь туда? – спрашивает он нехотя.

– Я бы станцевала. – Я поднимаю на него взгляд. – Можно я станцую перед тем человеком?

Отец смотрит на меня с недоумением пустыми глазами и чёрными пышными усами. Усы ухмыляются мне Чеширским котом. Ему холодно гулять со мной. Он хочет домой, в тепло. И, наверное, только поэтому соглашается.

– Пойдём. – Он берёт меня за руку.

Его шаги большие. Очень широкие. Я семеню рядом, стараясь не отставать от его штанов, и крепко цепляюсь замёрзшими пальцами за его холодную, безвольную ладонь. Я никогда прежде не танцевала, но, когда на чёрно-белом экране телевизора возникал силуэт балерины, мысленно примеряла на себя её пачку и замирала внутри в красивой балетной позе. Почему я захотела тогда станцевать перед странным юношей, сидящим на стуле? Я не помню. Или не хочу помнить?

Глава первая

Поклон

Входная дверь скрипом пригласила нас войти. Внутри школы пахло котлетами и мочой. У входа в спортзал девушка без внешности и возраста попросила меня раздеться до трусов, пройти и сесть вместе с остальными детьми. Отец, забрав мои вещи, остался стоять в коридоре, в голубиной стае других родителей. Они переминались с ноги на ногу и клевали носами в немом ожидании. На мне были жёлтые трусы, в цвет шершавого и неровного пола зала. Странно, но моё появление не привлекло ничего внимания. Я на цыпочках подошла к краю скамейки и села на свободное место. Мальчики и девочки по очереди вставали с неё, выходили на центр и исполняли свои странные, нелепые движения.

Меня не интересовали их ужимки – я смотрела на человека на стуле, а он на меня – нет. Несмотря на молодой возраст, его коротко стриженную голову украшала большая залысина. На лице – серые впалые глаза и встревоженная щетина. Мальчика сменяла девочка, девочку – мальчик. Перед тем как они начинали танцевать, он что-то спрашивал у каждого из них. Я не могла разобрать что. Потом он начинал отстукивал ритм – монотонный, безэмоциональный. Этот ритм вводил меня в транс. Дремота, подобно рвоте, медленно поднималась от низа живота к моему горлу. Я поняла: чтобы как-то побороть накатывающую на меня сонливость, надо соединить этот ритм с какими-нибудь словами, но в памяти всплывала лишь колыбельная, которую мать никогда не пела мне. Где я могла услышать её слова? Я не знала. Или не хотела знать? Я стала петь шёпотом, одними губами, подстроившись под темп ударов его руки, сосредоточив внимание на её движении. Слова колыбельной закончились, и я начала свою молчаливую песню сначала, как парижская шарманка на площади у собора Нотр-Дам. На третьем круге на скамейке не осталось никого, кроме меня. Человек на стуле повернул голову в мою сторону и зрачками глаз позвал к себе. Я подошла и встала перед ним на жёлтом полу в своих жёлтых трусах.

– Тебе нравится танцевать? – спрашивает он.

– Не знаю, – отвечаю я, – я никогда раньше не танцевала.

– Что, вообще никогда? – удивляется он.

– Только в мыслях. Иногда. Это считается?

– Не знаю, – задумался он. – Я могу его увидеть?

– Мой танец? Вы что, умеете видеть мысли?

– Умею, – сказал он медленно и уверенно, – но я хочу, чтобы ты сама показала мне их.

Прежде чем ответить, я на секунду задумалась. Вспоминая тот день, я до сих пор не понимаю, почему тогда ответила ему именно так. Или не хочу понимать?

– Что вы будете делать, если вам по-настоящему понравится увиденное?

– Если понравится по-настоящему, попробую сделать из тебя танцовщицу. Но только если по-настоящему.

– А если не понравится?

– Останешься той, кем являешься сейчас.

– Лизой Большаковой?

– Лизой Большаковой. Ну что, Лиза, покажешь мне свои мысли?

– Только одну, – согласно кивнула я.

– Но самую интересную, договорились?

– Хорошо. Стучите уже.

Сейчас я бы многое отдала, чтобы посмотреть на танец той меня, семилетней девочки в жёлтых трусах. Но, к сожалению, это невозможно. Хотя иногда мне кажется, что если я закрою

глаза и представлю на мгновение себя там, в том зале, перед человеком на стуле, и услышу тот самый ритм, то, быть может, смогу повторить его. Каким он был? Наверное, таким же странным и нелепым, как и у остальных детей. Я бешено кружилась, раскинув руки в стороны, задирала как сумасшедшая ноги выше головы, прыгала и пыталась изобразить балетные движения, которые видела по телевизору. Наверное, это было ужасно. Хотя почему «наверное»?

– Достаточно, – он резко прервал моё выступление.

– Уже? Я же ведь только начала! – остановилась я, переводя дыхание.

– Я увидел всё, что мне надо. С кем ты пришла на просмотр? – Он встал со стула.

– На просмотр? – удивилась я. – Я пришла станцевать для вас!

– Ну хорошо, Лиза Большакова, – согласился он, – с кем ты пришла станцевать для меня?

– С папой, – я указала рукой на дверь, – он там, в коридоре.

– Пойдём, – он протянул мне руку, – познакомишь меня с ним.

Его рука на ощупь была уверенной и спокойной. Я отвела его к отцу. Они что-то долго обсуждали, папа хмурился и вопросительно смотрел сверху вниз на молодого человека. Тот тихо, но настойчиво убеждал его в чём-то снизу вверх.

– Ты хотела бы ходить в танцевальную студию при хоре? – спросил меня отец, сидя на кухне передо мной часом позже.

Он курил в сторону приоткрытого окна, пока я размазывала манную кашу ложкой по белой суповой тарелке с синим орнаментом.

– А что будет петь хор? – поинтересовалась я, продолжая своё нехитрое занятие.

– Какая разница? Ты танцевать хочешь? – Он стряхивал пепел в банку из-под кофе и смотрел пустыми глазами на мать – та, стоя в переднике у плиты, кипятила бельё в большом сером ведре.

– Как по телевизору? Белого лебедя?

– Белого? – хмыкнул он. – Нет. Народные танцы. Кокошник, красные сапожки – вот это вот всё. Будешь ходить?

– Вместо школы?

– После. Лера, – он повернул голову в сторону мамы, – твоя мать сможет её водить туда по вечерам?

– Я позвоню ей сегодня. Спрошу, – отозвалась она, помешивая пододеяльник огромными деревянными щипцами. – А где это территориально?

– Шаболовка. Тут в общем недалеко.

Через два дня я с бабушкой была у проходной Шаболовского телецентра, в окружении таких же мальчиков и девочек с их родителями, в ожидании Алексея Виссарионовича – так звали молодого человека с лысиной. Мы стояли чуть в сторонке ото всех. Я держалась за бабушкину руку – старую, как мне тогда казалось, морщинистую, но добрую – и страшно боялась отпускать её. Остальные дети, быстро и весело сбившись в воробьиную стайку, болтали о чём-то своём, хихикали и периодически бросали на меня косые взгляды. Они не были злыми, скорее, насторожённо-заинтересованными. Детей собралось много, им было тепло, а я с бабушкой – одна, и мне очень холодно. Бабушке, наверное, тоже. Она стояла здесь, на морозе, дожидаясь, пока за нами придут и уведут куда-то в недра телецентра. Отец, наверное, сидел сейчас на кухне и, как обычно, пил водку, курия в приоткрытое окно, а мать только ехала с работы где-то в глубине Московского метрополитена имени кудрявого мальчишки, украшающего своим изображением мой октябрятский значок. На нём он мне нравился, а вот на памятниках и барельефах, расставленных и развешанных по всему городу, словно кто-то боялся, что про него забудут, – нет. На них он был старый и лысый.

Я, видимо, странный ребёнок. По крайней мере, бабушка так считает. Наверное, это потому, что мозги у меня не прямые, какие, по её мнению, полагается иметь ребёнку моих лет, а зигзагообразные, и формируются в них мысли заковыристые, и выражаю я их вслух не так,

как мои ровесники, а будто подражая взрослым. Может, всё оттого, что я рано начала читать странные книги, которые пылятся на книжных полках у нас дома? Бабушка подсовывает мне сказки с цветными иллюстрациями, а мой взгляд упирается в толстые серые тома взрослых авторов. Я прошу маму дать мне один из них и, закрывшись у себя в комнате, под светом ночника читаю, спотыкаясь в сложных местах, чужие непонятные мысли, запечатлённые на бумаге. Я мало что понимаю в них, но от этого мне становится ещё интереснее. Это как головоломка, как взрослая загадка, которую невозможно разгадать, но она оставляет непонятное радостное ощущение сопричастности тайне текста, и от столкновения с ней в моей голове что-то путается и остаётся – точно так, как застревают мухи в паутине, попав туда по нелепой, роковой случайности. И эти высохшие, обескровленные чёрные тушки выпадают из неё странными словосочетаниями через мой рот. Соотносятся ли они с моими мыслями? Думаю, не больше, чем мухи с пауком. Я, наверное, как попугайчик, повторяю за взрослыми звуки, не особо понимая их смысл. Или всё же понимаю? Я странный ребёнок в странной семье. Для моей головы это очень неудобно.

Кто-то должен был испытывать неудобство перед бабушкой за это стояние на морозе, и я решила: пусть это буду я. Я смотрела в её слезящиеся на ветру глаза, а она вытирала их шершавыми пальцами и улыбалась.

– Ты не переживай. – Она прижимала меня к себе и гладила по спине. – Слушайся преподавателя и, главное, старайся. Тогда всё будет хорошо.

– А если у меня не будет получаться? – глухо тревожилась я, уткнувшись лицом в её серое тонкое пальто.

– Поначалу так и будет, но это не страшно, – пыталась как-то успокоить меня бабушка.

– А что страшно?

– Если тебе не будет нравиться то, чему тебя там будут учить.

– Как может нравиться то, что не получается?

– Не может, поэтому надо очень внимательно слушать, что будет тебе говорить педагог.

Алексей Виссарионович вышел на пятачок перед проходной, тревожно скрипнув входной дверью.

– Дети, здравствуйте! Встаём в пары друг за другом и заходим! – скомандовал он громко.

Все быстро и привычно разбились по парам, и я с ужасом обнаружила, что оказалась совершенно одна.

– Большакова! Лиза! – увидев моё замешательство, позвал меня Алексей Виссарионович. – Иди-ка сюда.

С тоской оторвавшись от бабушкиной руки, я быстро засемила мимо колонны детей и подошла к нему.

– Группа закончит в восемь, солистов отпущу в девять, – обратился он к родителям, а после ко мне: – Пришла?

Я кивнула.

– Молодец, что пришла, давай руку. – Он протянул мне свою. – Дети, за мной! Не отстаём и не растягиваемся!

И мы с ним пошли впереди колонны, ведя всех куда-то закоулками между двухэтажных песочного цвета зданий. Я – гордо, а Алексей Виссарионович – деловито, но при этом слегка вальяжно.

– Запоминай дорогу, Лиза, обратно иногда будете ходить сами, – сказал он.

– А куда мы идём-то? – поинтересовалась я.

– В хореографический зал, куда же ещё.

– Там тренируются балерины?

– Не тренируются, а занимаются. И не балерины, а дети нашего танцевального коллектива. Небольшого, но очень дружного.

- Занимаются как в школе, за партами? – не унималась я с расспросами.
- У станка, – терпеливо пояснял он.
- Как на заводе, значит?
- Нет, – хохотнул он по-доброму. – Сейчас всё сама увидишь, тем более что мы пришли.

Поднявшись по ступенькам и дождавшись, когда подтянется всё-таки растянувшаяся длинной змеей колонна остальных детей, Алексей Виссарионович распахнул массивные деревянные двери, пропуская нас внутрь. В сумраке коридора, шаркая зимней обувью по мраморному полу и оставляя за собой коричневые следы, мы, практически на ощупь, прошли его до конца и оказались в крохотной и тесной раздевалке с крючками для верхней одежды на стенах и деревянными лавками по стенам. Все бросились переодеваться, завешивая свободные крючки зимними курточками и занимая своими попами места на лавочках. Я протиснулась вглубь, в дальний угол раздевалки, и, забившись там, как мышь от швабры, открыла свой рюкзак, в который мама сложила чёрные трусы, белую майку, такие же белые носки и купленные по случаю первого занятия чешки неприятного кремового цвета. Стараясь не смотреть вокруг и заливаясь румянцем по самые уши, я быстро облачилась в эту незамысловатую танцевальную форму и вышла вслед за остальными через маленькую дверцу в стене раздевалки в ярко освещённый зал.

Я остановилась как вкопанная от изумления на самом проходе. Дети, выбегая, врезались в меня, а я стояла, разинув рот, с широко открытыми глазами и смотрела на огромные зеркала и странную двойную деревянную палку, закреплённую вдоль всех стен на металлических поручнях на уровне груди. И пока остальные дети вставали на свои места по линиям, видимо, в том порядке, в котором их ранее расставил преподаватель, я как в трансе пошла к этому странному предмету. Оказавшись у палки, я закрыла глаза и легонько провела по ней рукой. Её поверхность на ощупь оказалась гладкой и тёплой. И, как мне показалось тогда, мягкой и податливой изнутри, будто брикет пластилина, который после покупки первый раз достали из коробки. Внешняя твёрдость – будто обманка: стоило первый раз взять её в руку, отдать ей капельку своего тепла – и лепи что хочешь. Или это она вылепит из тебя что-то или кого-то по своему разумению? Это было очень странное, но в то же время почему-то болезненное тактильное ощущение. Болезненное даже не физически, а скорее, эмоционально.

- Не торопись, – услышала я над собой голос Алексея Виссарионовича и открыла глаза.

Он стоял рядом, облачённый в чёрную футболку и такие же чёрные тонкие штаны, и с интересом наблюдал, как я, зачем-то закрыв глаза, вцепилась в палку с задумчивой улыбкой на лице.

- К станку встанешь позже. Ещё успеет тебе надоест, поверь, а пока иди на середину.
- К станку? – удивилась я.
- Да, – кивнул он, – эту палку мы называем станком.
- Почему?
- Такая вот у нас традиция.

– Куда вставать? – Я повернула голову к центру зала. Все дети уже давно заняли свои места.

- В последнюю линию, крайней слева, – секунду поразмыслив, ответил он.
- А когда вы переставите меня в первую?
- Хочешь в первую? – Он с интересом посмотрел на меня.
- Из последней меня не будет видно.
- Кому? Мне? – удивился он.
- Зачем вам? Зрителю! Мы же собираемся выступать в Большом театре?
- Вот оно что! В первую линию встанешь тогда, когда станешь лучшей в этой группе.
- А когда стану лучшей во всём коллективе?

– Ну, тогда сразу в Большой театр танцевать! Ну всё, – он легонько подтолкнул меня в спину, – беги давай.

Я послушно побежала в последнюю линию и заняла указанное им место.

– Дети, поклон! – Алексей Виссарионович вышел вперёд, но все как по команде развернулись чуть правее и поклонились молодой девушке за большим чёрным роялем, стоящим в углу зала. Как я не заметила его сразу? Девушку звали Светланой, а по-балетному – концертмейстер. Вот так. Имя у неё было женское, а название профессии – почему-то мужское. Потом мы поклонились педагогу и сели прямо на пол, вытянув перед собой ноги и положив руки на пояс.

– Светлана, прошу! – громко сказал преподаватель, и Светлана заиграла.

Такой странной музыки я ещё не слышала. Мама часто ставила дома пластинки с классическими произведениями советских композиторов. Но эта музыка разительно отличалась от того, что мне доводилось слышать прежде. Она была то квадратно-спотыкающейся, то отрывисто-призывной, а иногда – заковыристо-вальсирующей. И какой-то сложной в своей примитивности. Как будто пальцы Светланы поочерёдно то прилипали к клавишам, а то вдруг отскакивали от них с такой скоростью, что казалось, будто они обжигают их кончики раскалённым свинцом.

Алексей Виссарионович показывал движения, мы, старательно и громко сопя, повторяли за ним. Движения оказались такими же странными, как и музыка, раздающаяся из угла зала: мы тянули ноги в попытке достать кончиками пальцев до пола, не согнув при этом колени, сидели и ложились в странную позу, почему-то называемую лягушкой, вставали на мостик, прыгали, вытянувшись в воздухе всем телом, прыгали, сгибая ноги в коленях, прыгали на одной ноге, прыгали в разножку, садились на шпагат. Музыка спотыкалась всё чаще, мы сопели всё громче и синхроннее, а упражнения всё никак не хотели заканчиваться и становились только сложнее и сложнее.

В какой-то момент мне стало казаться, что, кроме этих движений и музыки, не существует больше ничего. И никогда не существовало, будто я всегда была частью этого музыкально-хореографического потока. И что он будет длиться вечно, а я буду вечно в нём: кружиться, подпрыгивать и пытаться изобразить позиции рук и ног, глядя через зеркало на отражение педагога, который в сотый раз показывает нам, как эти упражнения должны правильно исполняться. Словно я родилась в этом зале и, кроме него, не существует в мире больше ничего: ни дома, где Чеширский кот пьёт водку и курит в окно, ни матери, вечно стоящей у плиты, ни бабушки, дожидаящейся этим зимним вечером меня с занятия, ни даже этой колючей зимы в этом колючем мире – вообще ничего. И от осознания и принятия этого факта физическая усталость отодвинулась куда-то на второй план, уступив место странному медитативному состоянию, похожему на мгновение, только растянутое во времени, какое бывает на стыке сновидения и пробуждения, когда ты уже приоткрыла глаза и увидела будничную монотонность реальности, но краски сна ещё продолжают разукрашивать разноцветной палитрой твоё сознание.

– Поклон! Занятие окончено! – резко прервал моё забытьё голос преподавателя. – Баландин, Павлов, Шитикова и Терентьева остаются на репетицию перепляса, остальные переодеваются и со Светланой Георгиевной – на выход и к проходной!

Так я узнала отчество нашего концертмейстера. В моей голове Светлане вполне хватало отчества и фамилия ей была ни к чему – образ как-то сразу сложился сам. Он был светлый, незатейливый и слегка чудаковатый, как и её музыка. Но вот Алексея Виссарионовича с отчеством, но без фамилии мне никак не получалось рассмотреть своим внутренним чувствительным. Я, сколько себя помню, всегда смотрела на людей именно им, хотя и сама не до конца понимала, что это такое, а глаза у меня были так, для виду, в отличие от ушей. Уши были незаменимы и важны – ими я улавливала интонации в разговорах родителей и по малейшим

изменениям тона могла предугадать наступление очередной ссоры и заранее запереть своё чувствовалище на замок изнутри, оставшись там наедине с собой. Мысленно я выключала там свет и, свернувшись калачиком сознания, изо всех сил зажмурившись, замирала в ожидании утра. Утром, как правило, буря стихала, вихри уносились каждый на свою работу, а я отправлялась бродить вдоль прибоа, собирая куски того, что ещё вчера было зонтиками и лежаками. И вообще, если прищуриться, вокруг было пусть и не райское место, но вполне себе неплохой курортный пляж дома отдыха всесоюзного значения. Большие смерчи – наверное, в каждом море такие – натворят дел, а мусор с берега выгребать нам, маленьким людям, на пустынном пляже детства.

Дети, несмотря на усталость, казалось, наперегонки бросились в раздевалку, а я, переведя дыхание и поправив слипшуюся от пота чёлку, осталась стоять в компании названных ребят.

– Большакова, ты чего? – окликнул меня педагог, увидев среди четвёрки, оставленной им на репетицию номера. – Марш переодеваться и домой!

– Я хочу остаться, – громко и чётко ответила я и чуть не топнула ногой от наигранной самоуверенности.

– Остаться? Зачем? – не понимает он.

– Буду учить номер. В сторонке. – Я делаю пару шагов назад. – Вот тут встану и обещаю не мешать.

– И как ты, стоя поодаль, собираешься его учить?

Я растерянно потупила взгляд.

– Включайся, раз такая настырная, – буркнул учитель и пошёл ставить бобину с фонограммой в магнитофон, незаметно приютившийся под роялем.

Всю репетицию я старательно повторяла движения номера то за одной девочкой, то за другой. Алексей Виссарионович делал ребятам замечания, а на меня изредка украдкой бросал мимолётные взгляды, будто хотел, чтобы я их не замечала.

После, когда мы впятером не торопясь оделись и, окончательно вымотанные, поплелись к выходу, он остановил меня в темноте холодного коридора.

– Большакова, – задумчиво произнёс он.

– Что? – я подняла на него тяжёлый от усталости взгляд.

– Завтра после урока останешься на репетицию, поняла?

– Поняла, – отозвалась я. – А что, теперь на танцы каждый день ходить придётся?

– Если очень повезёт, то всю жизнь.

– Понятно, – сказала я, ничего не поняв. – Я была сегодня молодец?

– Как солёный огурец. Топай за ребятами, я закрою зал и догоню вас.

Я выхожу на улицу. С неба медленно падают крупные голубые снежинки. Догнать ребят или подождать учителя? Я запрокидываю голову и высовываю язык. Одна из снежинок опускается на него и моментально тает. Глотаю ледяную каплю и слышу, как сзади под подошвами чьих-то ботинок крошатся острые кончики ледяшек. Обернувшись, я вижу Его. Он стоит поодаль, под соседним фонарём. Он смотрит на меня. Я шурюсь и пытаюсь разглядеть Его лицо, но густой снег лезет мне в глаза и мешает. Кажется, Он улыбается, и я улыбаюсь Ему в ответ. И тут я с радостью догадываюсь, что всё это время Он был здесь и наблюдал за мной в окно зала. Я поднимаю брови домиком, а Он сжимает кулак и оттопыривает большой палец вверх. Закрыв глаза, я начинаю залиvisto смеяться в этой вечерней тишине, как вдруг чья-то рука тяжело ложится мне на плечо.

– Большакова, ты чего? – Алексей Виссарионович смотрит на меня в недоумении.

– Да вот же... – Я тычу пальцем в сторону фонаря, но там уже никого нет. Или не было вовсе?

– Большакова, ты меня пугаешь. – Он протягивает мне руку. – Пошли скорее.

«Бабушка! Я же совсем забыла про неё! – пронеслась у меня в голове мышкой-полёвкой тревожная мысль. – Она же всё это время стоит там одна на морозе и ждёт меня!» Мне становится очень стыдно. Стыдно за то, что первый раз в жизни за своими интересами я забыла про близкого мне человека. Первый и, как оказалось потом, последний. Больше я никогда не стыдилась этого, отодвигая на второй план людей и выводя на авансцену собственные желания, а если быть совсем точной – один конкретный свой интерес. Но тогда, возвращаясь за руку с педагогом обратно к проходной телецентра, я, кусая губы, сторала со стыда и не представляла, как посмотрю ей теперь в глаза.

– Там бабушка ждёт, она не знала, что я задержусь, – лепечу я Алексею Виссарионовичу.

– Неудобно получилось. Не переживай, я ей всё объясню, – спокойно реагирует учитель.

На душе сразу стало легче. Как только мы вышли из проходной, я бросилась к бабушке навстречу и, обхватив её за ноги, посмотрела снизу вверх виноватыми глазами. Подошёл Алексей Виссарионович и коротко объяснил, почему мы припозднились. Пока он говорил, бабушка глядела шершавой и холодной ладонью мой вспотевший лоб.

Потом были тусклое, мраморное и пустынное метро, где я умудрилась на одну остановку провалиться в короткую, как щелчок пальцев, дрему, наш заснеженный двор, старая деревянная дверь в подъезд и громохучий лифт до восьмого этажа. Открыла мать в переднике. Из коридора на лестничную клетку вывалился запах алкоголя и жареной картошки. Бабушка, быстро попросившись, сразу ушла. Мать, заперев за ней дверь, вернулась на кухню, а я, разувшись, села на драный пуф и, стянув с себя вязаную шапку с зелёным помпоном, застыла, уставившись на маслянистое пятнышко на выцветших обоях. Перед глазами проносились танцующие ребята: Баландин, Павлов, Шитикова и Терентьева, а в ушах надрывалась фонограмма перепляса. В коридор незаметно вышел отец с сигаретой и банкой из-под кофе в руках. Его пустые глаза пьяно блестели.

– И как прошло занятие? – Он выдыхает серый дым неотвратимой действительности мою сторону. Язык Чеширского кота заплетается, и мне не хочется разговаривать с ним, но не отвечать нельзя. Это неуважение.

– Нормально. – Не глядя на него, я снимаю куртку и начинаю нервно комкать её у себя на коленях.

– Нормально – это никак. – Отец затягивается, и сигарета с силой разгорается трескучим красным огоньком.

– Репетировали номер для выступления, – говорю я, почему-то не упомянув про само занятие.

– Даже так. – Скеписис сползает липкой желчью с его усов. – Первое занятие – и сразу номер?

– Перепляс. – Я вешаю куртку на крючок и, оставшись в свитере и рейтузах с пузырями на коленях, пытаюсь как можно естественнее протиснуться в дверной проём своей комнаты.

– Мой руки и иди ужинать, – слышу я его голос и шарканье сношенных тапочек по вздутому линолеуму коридора.

Месяц назад он забыл закрыть кран в ванной – пил, как обычно по субботам, водку, заперевшись на кухне, и не слышал, как вода растекалась по всей квартире горячим потоком коммунальной реки. Мать в тот момент выбивала ковёр во дворе, а я нарезала круги вокруг неё, горлопаня на всю округу все мыслимые и немыслимые считалочки, которые только могла вспомнить. Вернувшись, мы обнаружили отца с тряпками в руках и по щиколотку в воде. Через неделю вздулся паркет в комнатах, а под линолеумом в коридоре образовались воздушные пузыри. Высохнув, паркет просел разрозненными дощечками на свои места, а пузыри на линолеуме так никуда и не делись.

Моя комната слишком маленькая, чтобы чувствовать себя большой. Комната маленькая, я маленькая, а вот все вещи в ней – очень большие. Большая старая югославская стенка, зани-

мающая всё пространство от пола до потолка, большое старое мамино пианино, поселившееся у противоположной стены, большой, исцарапанный жизнью и прошлым дедовский письменный стол у большого окна и большая кровать, забившаяся вместе со мной в оставшееся пространство комнаты. Посередине – маленький островок свободного места с протёртым до дыр красным ковром под ногами. По-моему, привезённым с дачи бабушки и дедушки. Но я не уверена. У пианино странная история. Не помню, кто и как вскоре после его покупки обратил внимание на то, что нигде не указано его название. Чёрная коробочка, издающая красивые звуки, простояла безымянной несколько недель, пока настройщик, колдовавший в его чреве инструментом, больше похожим на пистолет с глушителем, не предложил вырезать на внутренней стороне крышки хоть какое-нибудь название. Так у инструмента появилась золотистая неровная надпись «Заря». Почему именно «Заря»? Кто знает... Может быть, потому, что все в на-шей стране в те годы подсознательно ждали её наступления?

Сев на кровать, я стягиваю с себя рейтузы и свитер, складываю их аккуратно в стопочку и убираю на полку в стенку. Во всём должен быть порядок. В комнате и в голове. И чисто. Пропылесосено, вымыто и чтобы нигде не было пыли. Отец не переносит внешнего бардака. Внешне всё должно быть на своих местах – и вещи, и люди. Бардака в его голове это не касается: его как бы и не существует. По крайней мере, ни матери, ни мне нельзя его замечать. Если я что-то забываю убрать за собой, он очень сильно напивается и орёт на мать, а меня попросту начинает игнорировать. Иногда неделями. Орать он всегда начинает неожиданно, так, что мои уши-локаторы не успевают предупредить меня, и я, злясь на них, на их бесполезность в такие мгновения, с силой и досадой зажимаю их руками и пою тихонечко вслух песенку из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»: «Спят усталые игрушки, книжки спят. Одежда и подушки ждут ребят...» И начинаю засыпать. Физически. Чувствилище остаётся открытым нараспашку, и Чеширский кот может в любой момент влететь туда и нагадить, будто это его лоток, но я не в силах справиться с собственной физиологией. Разум выбрасывает перед чувствилищем белый флаг и отступает. Видимо, такая вот защитная реакция организма на сильный стресс.

Мою комнату от их спальни и нашей кухни отделяет длинный и узкий коридор. Ниточка, соединяющая мой мир и их мир. Спустя много лет, вернувшись после долгого отсутствия в родительскую квартиру, я разрушу его, как разрушу и связь с родителями до конца их и моей жизни. Но это будет потом, а сейчас, облачившись в домашнюю майку и тренировочные штаны, я иду по этому коридору мимо большой комнаты, эдакой нейтральной зоны с телевизором и диваном, на кухню ужинать. Мы никогда не собираемся на ней все вместе, за исключением редких случаев, когда наступает время встречи Нового года или приезжают родственники по линии отца. Он родился не в Москве, в отличие от мамы, а в небольшом хуторе недалеко от Ростова. Всё моё детство каждое лето мы ездим туда провести мою вторую бабушку, так и не ставшую мне родной. Может, оттого, что одной недели в году было слишком мало, чтобы понять и почувствовать эту женщину с очень старым лицом и васильковыми глазами. Мне не нравится туда ездить. Там мухи, шипящие гуси, вечно желающие ущипнуть тебя за ногу, и лезущие в душу с пьяными разговорами люди с обречённым выражением потерянных среди выгоревших полей таких же выгоревших глаз. А ещё там жарко и грязно. Может быть, поэтому отец и сбежал отсюда в восемнадцать лет и наша квартира напоминает по своей чистоте больничный операционный блок? Мне семь лет, и я пока ещё больше догадываюсь, чем что-то знаю об этой жизни. Наверное, это нормально, хотя о том, что такое нормально, я пока тоже могу только догадываться.

Что на ужин жареная картошка, я догадалась по запаху, едва зайдя в квартиру. Сегодня вечером на моей тарелке картошке составляли компанию огурец с отрезанной попкой и горбушка белого хлеба. Я села на своё место и пододвинула к себе тарелку. Есть не хотелось совершенно, и я принялась по привычке ковырять еду вилкой.

– Как тебя приняли ребята? – Мать села рядом, подперев подбородок тонкой белоснежной рукой и обречённо, устало улыбаясь. У неё грустный, измотанный вид и через силу любящий, затухающий взгляд. Вечно затухающий, как будто его поставили на паузу. Отец, как обычно, стоит у приоткрытого окна и выдыхает табачный дым в сторону улицы. Но дым не хочет на мороз и летит обратно, как мотылёк на свет. Я немножко задыхаюсь, но не подаю вида.

– Мы ещё не разговаривали. – Я накалываю огурец на вилку и с хрустом откусываю от него треть.

– Некогда ей было, наверное. Разучивала танец. К выступлению готовится, – отвечает за меня отец, пока я пережёвываю водянистую белёсую мякоть огурца.

– Так скоро? – удивляется мама и зачем-то пододвигает тарелку ещё ближе ко мне.

– Звезда у нас с тобой растёт, не видишь, что ли?

Содержимое во рту мгновенно становится противно горьким и склизким.

– А может, и так? Вдруг у нас тут будущая великая балерина сидит, да? – незаметно улыбается мама кончиками тонких губ и заговорщицки подмигивает мне.

– Вдруг бывает только понос. – Отец поворачивается и выходит из кухни.

Я через силу сглатываю горькое и склизкое и замечаю на полу змейку капелек презрения с усов Чеширского кота.

– Я не хочу есть. Можно я пойду к себе? – наклонившись, шепчу я маме на ухо.

– Совсем-совсем не хочешь?

Я отрицательно мотаю головой.

– Ладно, ступай. Я зайду к тебе через полчаса, и пойдём мыться, хорошо?

Я согласно киваю, вскакиваю с табуретки и несусь по бесконечному коридору к себе в комнату.

Откуда взялся в моей комнате плюшевый тигр? Когда он успел там поселиться? Возможно, задолго до моего появления. Он жёлтый, с чёрными полосками по всему телу. У него кривые смешные ноги, длинный хвост и весёлые усы. Глаза зелёные и пластмассовые. Он обнимает меня своими синтетическими лапами и щекочет усами шею. Мой тигр большой, практически с меня ростом, и мы любим, когда нам плохо на душе, полежать в обнимку, прижавшись друг к другу. И он слушает тревожное биение моего сердца, а я – его успокаивающую тишину.

Плохо нам обычно по вечерам, когда отец задерживается на работе, куда его устроил дедушка, отец моей мамы. Место, откуда он задерживается, называется «Министерство». Это всё, что я знаю про него. В такие вечера, когда мама уверена, что я уже сплю, я встаю и тихонечко подхожу к окну. Поднимаюсь на цыпочки и, облокотившись на холодный подоконник и вглядываясь в вечернюю мглу, рассматриваю дорожку, ведущую от метро к нашему дому. Зимой от моего дыхания стекло быстро запотеваает, и я часто протираю его ладонью. Иногда мне кажется, что я затёрла его настолько, что однажды оно изменит свои свойства и за ним я увижу мир, в котором Чеширский кот больше никогда не вернётся к нам из этого своего загадочного «Министерства».

Но он всегда возвращается. Иногда уже по его походке я догадываюсь, будет ли ночь спокойной или нет. Завидя его фигуру с портфелем в руке, я пару секунд смотрю на него, а потом так же тихо возвращаюсь в постель и замираю, накрывшись тонким одеялом по самые уши. Лестничную клетку с лифтовой шахтой и мою комнату разделяет толстенная кирпичная стена, но через неё, особенно в полной ночной тишине, отлично слышно, как громыхучий лифт поднимает его наверх. Потом он долго и противно ковыряет ключом в дверном замке, а мама молча стоит в прихожей и ждёт, пока он войдёт. Они говорят о чём-то шёпотом. Мне не разобрать слов, но по интонациям и kloкочущим вибрациям голоса отца, просачивающимся через щёлочку между полом и дверью, я понимаю, буду ли спать сегодня.

Иногда я думаю: зачем? Зачем я со стеклянными глазами, с обжигающими щёки слезами стою в одних трусах в коридоре, прижавшись всем телом к стене, прислушиваясь к их голосам,

которые тихо разрушают мой маленький мир, тревожно доносясь из кухни? Я всё равно не понимаю, почему они ссорятся. Почему он тихо уничтожает её? Почему она терпит? Мне семь лет. Как я могу это понять? Я просто испытываю боль за мать и желание причинить физическую боль отцу. Мне хочется молча бить его своими маленькими кулаками до тех пор, пока он не подхватит портфель и не побежит со всех ног вниз по лестнице в тёмный двор нашего дома, и мы больше никогда его не увидим. Наверное, с ним навсегда исчезнет и Чеширский кот. Ну что ж, навсегда – значит, навсегда. Вполне достаточно того, что я буду тихо и грустно вспоминать его как что-то хорошее, но абсолютно случайное и незаслуженное в моей жизни.

Возникла ли тогда в моей голове мысль, что причиной всему непонятному, страшному и больному в нашей семье служит мама? Конечно, нет. Уже потом я стала догадываться, что прекрасное не всегда совершенно, а страшный зверь рычит и кусается иногда только лишь потому, что попал в капкан или психически болен. Жизнь – вообще безвыходная ситуация, и выход из неё можно найти лишь случайно или вследствие ошибки. Мне семь лет, и почему-то я чувствую себя их ошибкой. Или ошибкой этой жизни. Быть может, потому, что часто слышу, как зверь, дёргая цепь капкана, тихонько рычит мне в спину: «Все наши с матерью ссоры из-за тебя». Почему? Я же, как мякоть огурца, – бледная и безвкусная. Мне семь лет, и пока я безликая субстанция по имени Лиза Большакова. Я оставляю мокрые тёплые следы от слёз на стене коридора и слюнявые пятна на подушке. Мама говорит, что они появляются, когда детям снятся добрые, хорошие сны. Мне снится кухонный нож отчаяния в моей руке, и только когда я гляжу на его стальное лезвие, из уголка моих губ на подушку стекает сладкая, липкая слюна. Другие сны мне не снятся.

Мама теребит меня за ногу. Я незаметно заснула усталым сном в обнимку со своим тигром. Открываю глаза и понуро плетусь по коридору в ванную. Ноги с непривычки гудят тупой болью. Долго смотрю на своё отражение в зеркале и пытаюсь представить, как я буду выглядеть через десять лет. Что я буду чувствовать тогда, меня почему-то не волнует. Наверное, потому, что где-то глубоко в подсознании я уже и так знаю: ничего. Но чего я пока не знаю, так это того, что я не бабашка в печатной машинке богов, на которой они набивают буквы своего романа под названием «Бытие», а механизм для преодоления. Не безупречный – будут и сбои, а однажды даже полный отказ всей системы, но всё это в будущем, а сейчас я терпеливо жду, пока мама больно трёт мне спину белой колючей мочалкой. Дальше я моюсь сама. У меня сухая кожа, и она постоянно трескается между пальцев ног. Внешне я, наверное, уродина. Во всяком случае, мне ещё не доводилось от кого-либо слышать обратное: у меня здоровенный курносый нос, густые брови, несоразмерно длинные руки и большие стопы. Слишком большие для маленькой девочки.

Внутренне дела обстоят ещё хуже. В моей голове клубок разноцветных ниток, вымоченный в чернилах депрессии, которые на всём и на всех оставляют пятна, и их невозможно стереть тряпкой, как пыль с подоконника. Депрессия. В восемьдесят шестом году никто не знал, во всяком случае, не употреблял этого слова. Оно появилось много позже и, как борщевик в поле, стало завоёвывать место в голове каждого второго подростка, а тогда всё списывали на мою замкнутость и нелюдимый нрав. Родители спотыкались о молчаливую меня, даже когда я практически не выходила из своей комнаты, и, записав наконец на танцы, наполовину решили для себя эту проблему. А в сентябре первый класс нашей дворовой школы закрыл её окончательно. Первую половину дня я проводила, сидя за партой в классе, вторую – стоя у станка в хореографическом зале. Контакт с одноклассниками как такового у меня не случилось, впрочем, не случилось его и с ребятами из ансамбля. Они мне были неинтересны – я была увлечена изучением себя и новых хореографических элементов. Исключение составила разве что Вера Шитикова, бойкая и громкая девчонка на два года старше меня.

Однажды, после очередной репетиции, она подсела ко мне в раздевалке и заговорщицки зашептала:

– Большакова, будь повыразительнее! И так ты уже полгода во втором составе нашего номера. Ты что, не слышишь, как Алексей Виссарионович тебе постоянно говорит, что ты у него «не звучишь» и вообще будто серая мышь на уроке!

– Тебе-то что? – буркнула я, отодвинувшись от неё.

– А то, что перепляс готовят для гастролой в Италию, – не унимаясь, продолжала Вера, пододвигаясь ко мне практически вплотную. – А ехать с Настей я не хочу!

– Почему? Вы же подружки! – удивилась я.

– Конечно, подружки, но ты же видела, какой у неё подъём? А прыжок? Она танцует гораздо лучше меня.

– А я, по-твоему, что – хуже Терентьевой?

– Как по мне, ты даже лучше, но она старенькая, а ты новенькая, вот и не в первом составе! Вдобавок ещё серая, как мышь, а в танец нужно вкладывать всю душу. Нам же педагог постоянно об этом говорит! Ты чем вообще его слушаешь?

– Я тебя не понимаю.

– Какая же ты тупая, Большакова! Просто ужас! Как мне, по-твоему, дружить с Настей, если на сцене она лучше меня?

– А я?

– А ты мне не подруга. Ну, дошло до тебя наконец?

– Наверное, – пожала я плечами.

– Вот и хорошо! Тем более что Баландин в тебя тайно влюблён! Встанешь с ним в пару, и всё, тили-тили тесто – жених и невеста!

Вера ушла, а я ещё долго сидела, пытаюсь осознать услышанное. Нет, не то, что Шитикова завидует чёрной завистью Терентьевой, хотя и считает её своей подругой, и не то, что Саша Баландин оказался моим тайным поклонником. Не это занимало мой ум, а то, как я выгляжу со стороны, – серая мышь. Что я не звучу, по мнению преподавателя, беспокоило меня саму уже очень давно, но что я могла поделать, если звучать ещё попросту было нечему? Чтобы был звук, сигналу от учителя надо было от чего-то отражаться, а ему невозможно отразиться от пустоты. Я старалась компенсировать эту телесную немоту, поднимая выше всех ногу и крутясь вокруг себя дольше всех. Но – серая мышь? Я готова была всю жизнь оставаться огуречной мякотью, даже его горькой попкой, но никак не серой мышью.

Выйдя из раздевалки, я увидела Алексея Виссарионовича у рояля. Он о чём-то мило болтал со Светланой Георгиевной. Та глупо смеялась, по-дурацки запрокидывая голову, и кокетливо строила нашему педагогу глазки.

Подойдя к нему, я нахально дёрнула его за штанину:

– Я серая мышь?

– Что? – Алексей Виссарионович наклонил голову и удивлённо посмотрел на меня.

– Как вы меня видите? Я для вас что, серая мышь?

Светлана Георгиевна замерла в недоумении, а учитель медленно присел передо мной на корточки.

– С чего такие мысли, Большакова?

– Просто ответьте, и всё!

– Ты не мышь, Большакова.

– Точно?

– Абсолютно.

– Тогда кто я, по-вашему?

– Признаться честно, я пока ещё не знаю. Может быть, ты мне ответишь? Кто ты, девочка по имени Лиза?

– Если вы не знаете, кто я, то почему так уверены, что я не мышь?

– Во-первых, у тебя нет хвоста...

– Несмешно! – перебила я его.

Алексей Виссарионович задумался о чём-то на секунду.

– Действительно несмешно, – согласился он. – Подожди меня в холле, я приду через пару минут, и мы с тобой обо всём поговорим, хорошо?

– Мне не надо обо всём, мне надо серьёзно.

– Поговорим серьёзно, обещаю, а теперь ступай. – Он отвернулся к концертмейстеру. Та не сводила с меня заинтересованного взгляда, пока я спиной пятилась ко входу.

В коридоре, закинув рюкзак на мраморный подоконник и сев на него, я сложила ноги по-турецки, закрыла глаза и принялась ждать учителя. Полюбила ли я танцы за те месяцы, что ходила сюда? Не особо, но мне нравилось, что благодаря им я могла меньше бывать дома. Всё оставшееся время, что я там всё-таки находилась, занимали выполнение домашнего задания и сон. Иногда я физически выматывалась так, что высматривать отца из окошка просто не было сил, и я проваливалась, словно под лёд, в холодный и липкий сон без сновидений. Моё общение с ним, да и с матерью тоже, свелось к минимуму. Ещё и бабушка, неизменно водившая меня всё это время на танцы, взяла за правило забирать меня к себе с дедом на выходные. Я тепло вспоминаю и её, и деда, и их квартиру недалеко от кукольного театра имени Образцова. Особенно меня поражали огромные металлические часы, украшающие фасад театра, из двенадцати кованых дверей которых с полуденным боем выезжали, на удивление прохожих, куклы-зверушки, играющие на различных музыкальных инструментах. Диковинный коллектив. Но среди них не было мыши. Похоже, ей нигде нет места: ни в кукольных часах, ни в танцевальном коллективе. Только в сказках. Но проще самой стать серой мышью, чем превратить эту реальность в сказочную страну.

– Так, глядишь, и третий глаз откроется. – Погрузившись в свои мысли, я не услышала, как ко мне подошёл Алексей Виссарионович. – Ты прямо как маленький Будда. Кто тебя так назвал?

– Как? – Я открыла глаза.

– Мышью. Кто тебя назвал серой мышью?

– Я не могу вам сказать.

– Не хочешь ябедничать? Понимаю. Похвально. Но что тебя так расстроило? То, что тебя сравнили с серой мышью или что это сделал тот, чьему мнению ты доверяешь в этом вопросе?

– Ни то, ни другое. – Я с трудом распрямила и свесила затёкшие ноги.

– А что тогда?

– То, что это может быть правдой.

– Ну, если ты с этим в глубине души согласна. А ты согласна?

– Конечно, нет, – уверенно произнесла я.

– Тогда почему тебя это так задело?

– Я не в первом составе потому, что я не звучу?

– Ах вот оно что, – вздохнул он. – Пока нет, Большакова, не звучишь. Но это, я думаю, вопрос времени.

Он сел рядом со мной и закурил. Странно, но я поймала себя на мысли, что от табачного дыма, выдыхаемого Алексеем Виссарионовичем в темноту холла, я ничуть не задыхаюсь, в отличие от отцовского.

– И что мне сделать? – спросила я.

– Чтобы попасть в первый состав? – уточнил он.

– Чтобы начать звучать.

– Поздравляю, ты только что начала это делать.

– Так просто? – удивилась я.

– Гораздо сложнее, чем тебе кажется.

– Я не понимаю, – разочарованно вздохнула я.

– Потом поймёшь. Обещаю. Завтра встанешь на место Шитиковой.

– Как – Шитиковой? – испуганно промямлила я, и уголки моих губ предательски затряслись. Такого поворота событий я совсем не ожидала.

– Молча. Но если завтра станцуешь хуже неё, уберу из номера вообще. Даже из второго состава. Усекла?

– Усекла, – отразился мой голос обречённостью от гранитных стен.

– Ну вот и молодец. Сама дойдёшь?

Я утвердительно кивнула.

– Тогда дуй давай, не заставляй бабушку тебя опять ждать.

Я послушно слезла с подоконника, взяла портфель за лямки и, волоча его по полу, как раб волочит гирию, прикованную к его ноге цепью, понуро побрела к выходу.

– Вы в курсе, что совсем меня не любите? – громко спросила я, остановившись у входной двери.

– Большакова, ты вызываешь во мне профессиональный интерес, и это сильнее любви. Или такая её идеальная форма. Поверь мне на слово, – отозвался с подоконника Алексей Виссарионович.

– Это я тоже пойму потом?

– Умнеешь на глазах.

Я вышла на улицу. Почему я тогда сказала ему про любовь? Наверное, мне показалось, что он, в отличие от родителей, может дать мне это чувство. Бабушка дарила тепло и ощущение безопасности, а это было немного другое. Тогда, топая по дорожке к проходной, я ещё не догадывалась, что всем на свете правят три чувства: любовь, жадность и жажда мести, а всё остальное – так, шелуха от семечек.

На гастроли в Италию я всё-таки попала. Отец через деда в скором порядке оформил мне заграничный паспорт, у него же занял тридцать рублей – обязательный сбор для каждого члена коллектива на оформление документов и сувениры. Поездка прошла как болезненный сон. Калейдоскоп отдельных ярких воспоминаний, связанных только одной мыслью: мне восемь лет и я за границей. Пизанская башня, негры, руки итальянцев, непонятная речь, макароны, выступление, телекамеры, слёзы, десятки каналов по телевизору в номере отеля, самолёт и облака. Мы пробыли там ровно неделю, и этих семи дней мне хватило, чтобы раз и навсегда понять: если, хорошо танцуя, есть возможность увидеть мир, эту возможность упускать ни в коем случае нельзя. На дворе восемьдесят седьмой год, железный занавес окончательно проржавел, но всё ещё на своём месте, и в СССР существуют только две творческие выездные профессии – актёры театра и кино да артисты балета.

В сером пространстве аэропорта Шереметьево меня встречают родители с серыми лицами, в серой одежде, а в моих глазах ещё стоят песочные картинки узких мощёных улочек ярких Флоренции и Рима. Я прохожу пограничный контроль, родители обнимают меня. В одной руке папа держит букет из трёх гвоздик. Их рваные, неровные лепестки, как и всё вокруг, почему-то тоже кажутся мне серыми. От этого меня стошнило самолётной едой на гранитный холодный пол аэропорта. Я вглядываюсь слезящимися глазами в растекающуюся под ногами лужу и пытаюсь вспомнить, что это – курица или рыба. Мама говорит, что это от стресса и перелёта, а отец вытирает платком мои бледные тонкие губы и отвечает, что всё будет хорошо. Меня ведут за руку к выходу, но я уже знаю, что хорошо мне не будет. По крайней мере, не здесь. Я была вдавлена в этот мир, а судьба была моим отпечатком на нём, и, чтобы изменить её, мне следовало или изменить себя, или изменить своё отношение к этому серому миру.

После моего возвращения Алексей Виссарионович объявил перед всем коллективом, что доволен поездкой и что теперь я, как и Шитикова, – солистка и стараться придётся в два раза больше. В раздевалке Вера шепнула мне на ухо: «Поздравляю, подруга!» – и зачем-то лизнула меня в щёку. В школе же откуда-то узнали, где я пропадала всё это время, и вовсе стали обхо-

дить меня стороной, словно прокажённую. Им было абсолютно неинтересно, по какой причине я была за границей. Они ненавидели меня только за то, что я там была, а они – нет. Мне по большому счёту было наплевать на мнение одноклассников о себе и на их молчаливый бойкот. Я полностью погрузилась в жизнь нашего танцевального коллектива и, как только звенел последний звонок, стремглав неслась на Шаболовку, игнорируя дожидаящуюся меня дома тарелку ненавистного супа на обед. Если не было занятия моей группы – часами сидела в зале под роялем, наблюдая, как занимаются старшие.

За три последующих года в дворовой школе лучше всего я научилась беспокойно ёрзать попой на стуле за партой в ожидании окончания уроков. Время, проведённое в её стенах и дома, казалось мне каким-то мороком, тяжёлым, беспокойным сном, и только здесь, у станка, в окружении таких же вспотевших, покрасневшихся детей, была настоящая жизнь. Тут ответы я получала быстрее, чем возникали вопросы, в отличие от дома, где всё было соткано из вопросов без ответов, а школа представляла собой храм догм и дурацких правил. Незнакомое семечко по имени Лиза Большакова уронила на дощатый рассохшийся пол балетного зала, и, поливаемое собственным потом, оно стало прорастать и пускать корни в его трещинки, а маленький, ещё не до конца распустившийся бутончик уже начал робко мечтать, что солнце обратит к нему свои лучи и прогреет в главном народном ансамбле, на выступления которого мама с молчаливого одобрения Чеширского кота купила абонемент.

С этого дня мы с бабушкой каждую субботу в течение полугода ездили на станцию «Маяковская». На выступления ансамбля Моисеева в концертном зале имени Чайковского. Я влюбилась в это место, в эти танцы и в глубине души мечтала, что когда-нибудь меня обязательно примут в его ряды и я стану там главной солисткой. Особенно мне приглянулась там одна высокая танцовщица с иссиня-чёрными волосами и безумно длинными ногами. Каждый раз, приходя на их концерт, я быстро выискивала её глазами в бурлящей массе танцующих мужских и женских тел и непрерывно следила только за ней. Она редко солировала, но отчего-то всё равно казалась мне лучше других. Выпросив у бабушки старый театральный бинокль цвета слоновой кости и дождавшись общих поклонов, я однажды даже сумела разглядеть её лицо: острые скулы, аккуратный ровный нос, тонкие губы и огромные глаза. Я выпрашивала у бабушки мелочь и покупала программки всех выступлений с её участием, а дома под светом тусклой лампы подчёркивала её фамилию красной ручкой. Волина. Её звали Алёна Волина.

На одном из концертов мне даже посчастливилось купить в фойе за рубль календарик с её изображением. На нём она навсегда застыла в молдавском танце, исполняя до-за-до, держась за чьи-то плечи. Она стала сниться мне по ночам, а по утрам я даже немного улыбалась и ещё постоянно представляла себе, как она пахнет, и мысленно примеряла к её образу разные придуманные запахи. Реальные были немногочисленны и примитивны: запах смородины на даче у деда, смрад от отцовской пепельницы, флёр маминых духов «Красная Москва» – всё это абсолютно не сочеталось с её ангельским образом. Мои же придуманные, несуществующие ароматы были сотканы из восхищения и нежности, поклонения и желания прикоснуться. Так абсолютно случайно и в известной степени совершенно неосознанно у меня появился кумир.

Да и сама жизнь потихоньку переставала быть болезненным нарративом в моём воспалённом сознании и начинала медленно, но верно медитировать. Я много выступала, и балетная пачка больше не снилась мне по ночам. И наяву, и в объятиях Морфея я усердно выстукивала каблукками своих красных народных туфельек ключи и дробы, и образ трясущейся от страха и злобы, описавшейся в длинном холодном коридоре девочки в жёлтых трусах медленно вытеснялся весёлой покрасневшейся девчушкой, летящей по диагонали сцены в задорном танце. На репетициях в зале и выступая на сцене я старалась выкладываться физически и эмоционально настолько, чтобы дома уже не оставалось сил ни на что. Только поесть и рухнуть в постель, мгновенно погрузившись от усталости в глубокий сон. И раздражённый голос отца, резониру-

ющий с пониманием, что они с мамой находятся в одном пространстве, всё меньше и меньше меня беспокоил.

Возможно, и ей, и мне надо было дать ему, как комарихе, вволю насытиться кровью, и он перестал бы жужжать над её ухом. Но она выбрала для себя другой путь, который в силу возраста мне тогда было не суждено понять, а я всю свою кровь на стёртых ногах оставляла впитываться в шершавые доски балетного зала, предпочитая дома бороться с вампиром с помощью беспробудного сна и осиновых кольев, с любовью расставленных в моём сознании по периметру чувствилища. Простой и действенный, как оказалось, способ. Вектор моего детского внимания потихоньку смещался с нездоровой атмосферы дома в сторону происходящего в балетном зале и на сцене, хотя уже тогда я, видимо, подсознательно и с лёгкой отложенной тревогой понимала, что это искусственное, похожее на радостную дрессуру состояние долго не продлится. Я изо всех сил гнала от себя эти дурные ощущения и в какой-то момент полностью отдалась потоку спотыкающейся музыки и освоению новых танцевальных движений, окончательно расслабила свой внутренний кулачок, который до того всегда держала наготове, чтобы вмазать на опережение, если судьба только посмеет замахнуться на меня своими непреодолимыми обстоятельствами. Но она, видимо, только этого и ждала.

Это случилось обычным весенним напористым днём, который врывается в жизнь тёплым, нежным ветерком, и люди открывают ему навстречу окна своих квартир и души своих тел, жмурятся от первых ласковых лучей солнца и начинают улавливать первое осторожное и негромкое пение птиц, сидящих в гуще пока ещё серых веток голых деревьев в ожидании их зелёного оживания.

– Лиза! – окликнул меня Алексей Виссарионович в один из таких дней, после очередной репетиции. – Задержись, поговорим.

Запихнув шерстянки в пакет и поправив мокрую от пота чёлку, я, по привычке ощущая недоброе, пересекла по диагонали зал и подошла к преподавателю.

– Сядь. – Он указал рукой на место на лавочке рядом с собой. – Тебе уже сколько стукнуло – десять?

– Десять, – кивнула я.

– А одиннадцать стукнет зимой, я прав?

– Да, в январе, – не понимая, куда он клонит, отвечаю я.

– Такое дело, Большакова. – Он перестал рассматривать собственные ладони и обернулся ко мне. – Я договорился.

– О чём? – не поняла я.

– Не о чём, а с кем. С твоими родителями и с Нинелью Михайловной.

– А о чём вы договорились с моими родителями и с...

– Нинелью Михайловной.

– Вот с ней.

– Через месяц пойдёшь на просмотр в Московское хореографическое училище.

– Зачем? – волна возмущения подбросила меня со скамейки на гудящие от усталости ноги.

– Большакова! Тупая балерина – это, конечно, то, от чего они там будут в восторге, но это не про тебя.

– Балерина? Какая ещё балерина? – В порыве возмущения я стала ходить взад-вперёд перед учителем, сжав от злости и бессилия кулаки. – Не собираюсь я становиться никакой балериной!

– А кем? Кем ты собираешься стать? Вечно стучать каблуком по сцене концертного зала имени Чайковского?

– А что плохого? Отучусь у вас до шестнадцати лет в коллективе, а потом пойду танцевать в ансамбль имени Моисеева!

– Не пойдёшь. Это не твой путь, Большакова. И сядь, пожалуйста, а то маячишь, как...
Просто уже сядь наконец!

Я села, хотя меня продолжало трясти.

– А вам виднее, да? Вы уже всё за меня решили? – стараясь не разрыдаться, спросила я.

– Да, Лиза, в этом вопросе мне виднее.

– Да кто вы такой, чтобы решать за меня мою судьбу?

– Самое главное, слава богу, ты понимаешь! – Он как будто бы даже попытался улыбнуться. – Мы тут о твоей судьбе говорим, а не о хотелках. И решаю не я и не твои родители, а кто я такой – это ты мне скажи.

– А кто тогда? Мой голос, судя по всему, вы учитывать и не собирались?

– Природа за нас всех всё решила, Большакова, природа. И за тебя – тоже.

– Какая ещё природа? – не унималась я. – Птички-синички и жучки-паучки?

– Та природа, что наградила тебя такими данными, – спокойно ответил он.

– Какими ещё «такими»?

– Исключительными. Для классической хореографии. И грех этим шансом тебе не воспользоваться.

– А что мне мешает ими воспользоваться в ансамбле Моисеева?

– Ничего. Просто они избыточны для этого коллектива, и показать всё, на что ты способна, народный репертуар тебе просто не позволит.

– А Большой театр позволит?

– Ну, прям сразу и Большой театр! Тебе в Большой попасть, скорее, твоя бесхарактерность не позволит.

– Характер у меня есть, – тихо прошипела я.

– Рефлексия есть, а характера я что-то не заметил пока.

– Ну, раз в Большой не возьмут – неча и в балерины пробоваться, правильно?

– Вот это «неча» откуда сейчас у тебя вылезло? – невпопад поинтересовался он.

– Не знаю, – буркнула я. – Из-под Ростова, наверное. Там моя вторая бабушка живёт.

– Забудь это слово. Увези обратно и там оставь. Договорились? Значит, если и танцевать – то только в Большом?

– А то! – гордо хлюпаю я носом.

– Я что-то всё-таки вижу. Что-то пробивается наружу. Это твой характер, Большакова, а? Или гордыня? Я не могу разглядеть. Подскажи мне.

– Паясничаете?

– Немного, – неожиданно согласился Алексей Виссарионович и положил мне руку на плечо. – Нинель Михайловна – подруга моей жены, замечательный педагог, в этом году набирает класс девочек. Я приглашал её на твои выступления, и она порекомендовала, чтобы ты пришла и проверилась. Если с медкомиссией не будет проблем, а ведь, насколько я знаю, ты здорова, да?

– Ну вроде бы, – нехотя соглашаюсь я.

– Ну так вот, если с этим не возникнет трудностей – она готова тебя взять.

– И научит меня танцевать так, что меня возьмут в Большой театр?

– Если очень-очень повезёт. В этом деле должно сойтись множество факторов. Талантом тут всё не ограничивается, он как прыщик – может вскочить у любого человека.

– А мои данные?

– В хореографическом училище все с подобными данными. Там другое нужно.

– Другое? Что другое?

– Фанатики. Там им нужны фанатики. Точнее, даже не им, а этой профессии. Люди, которые ради танца готовы... Даже не так – не готовы, а уже отреклись от обычной жизни.

– Ради танца – от жизни?

– От обыденности реального мира. Как вариант.

Я на секунду задумалась. Отречься от вечно пьяного отца и молчаливой матери? Нет, скорее, от отчаяния, страха и вечно красных, воспалённых от слёз глаз.

– Вам не будет грустно? – спросила я его.

– Грустно? – удивлённо переспросил он.

– Вы вырастили меня, своё деревце, здесь, – я показала рукой в сторону станка, – а теперь собираетесь его спилить, чтобы кто-то сделал из него мачту на чужом корабле?

Глаза Алексея Виссарионовича превратились в два карих буравчика, и его взгляд будто прошёл мою голову и упёрся изнутри в мой затылок, пройдя насквозь мозг, или что там у меня находилось в этом возрасте в черепной коробке.

– Господи, девочка, ну откуда только это в тебе? А как ещё, по-твоему, не спилив его, я увижу годовые кольца? – произнёс он тихо.

– Я вас не понимаю, – пробормотала я.

– Потом поймёшь. И ты, Большакова, не привыкай ни к чему и ни к кому. Иначе обречёшь себя на череду вечных потерь.

– Я думала, что нужна вам. – Что-то тёплое капнуло мне на коленку.

Он обнял меня и, уткнувшись губами в мои всклокоченные волосы, зашептал:

– Ну конечно, нужна, ещё как нужна. Но не как солистка ансамбля Моисеева.

– А как кто? – Я тихо плакала, уткнувшись в его грудь.

– Как Лиза Большакова, как девочка, которая поняла, кем может стать, а не та, за которую вечно делают выбор другие.

– Но именно это вы сейчас и делаете.

– Я ставлю твои ноги на путь, ведущий к свободе, дурёха, хотя он может тебе показаться дорогой, ведущей в ад.

– Что будет, если я не пойду на просмотр? – спросила я, отстранившись от него и не поднимая заплаканных глаз.

– Когда перед тобой открывается новая дверь, старую, ту, что за твоей спиной, запирают на засов изнутри. Ты пойми, ну останешься ты здесь, проскачешь на каблуке до шестнадцати лет, а дальше-то что? Институт, брак, пелёнки и единственное светлое пятно в твоей жизни – это воспоминание о том, как ты ребёнком ходила сюда на танцы? Большакова, у тебя данные, у тебя талант. В твоём случае или не начинать заниматься этим вовсе, или положить свою жизнь на алтарь Терпсихоре.

– Это ещё кто такая? – шмыгая носом, поинтересовалась я.

– Древнегреческая муза танца, но сейчас не об этом, понимаешь? Ты понимаешь, о чём я?

– Понимаю. Сюда я больше не приду. Не пустите, верно? – Я подняла на него заплаканные глаза.

– Верно. Не пушу.

– Не пустите – я, наверное, перестану верить в людей. Я же вам тогда поверила, той зимой, помните? Только вам одному.

– Я помню, Лиза, я всё помню. И, поверь мне, поступаю так исключительно потому, что больше никому. Но, знаешь, перестав верить в людей, тебе ничего не останется, как верить в нелюдей. А может быть, и преклоняться перед ними. Не самый здравый выбор, как считаешь?

– Я больше никак не считаю, я всё поняла. Последний вопрос можно?

– Конечно.

– А если вашей Терпсихоре абсолютно плевать на меня?

– Не плевать, Большакова, поверь, иначе как ты оказалась тогда в спортивном зале?

– Как-как, папа замёрз, вот и зашли погреться.

Я встала, подхватила свою сумку и, стараясь не обернуться и не побежать, на полусогнутых ногах поплелась в раздевалку. Мне хотелось любви, а взамен мне предложили новую кон-

цепцию меня. Тогда я ещё не знала, что больше никогда не увижу Гингему¹ в обличье молодого преподавателя, который с такой лёгкостью распорядился моей дальнейшей судьбой. Если бы он только догадывался, из чего на самом деле была вымощена дорога в Изумрудный город. А может быть, он-то как раз и догадывался? Как знать, как знать...

– Кто такая Терпсихора? – спрашиваю я у мамы дома.

– Древнегреческая муза. Покровительница танца и, по-моему, хорового пения. А что такое?

– Откуда ты про неё всё это знаешь?

– Не помню. – Мама пожимает плечами. – Читала где-то. Очень давно.

– А я могу почитать?

– Почитать?

– Ну да, о Терпсихоре.

– Зачем тебе?

– Надо, – уклончиво отвечаю я.

– Я поняла. Поищу что-нибудь в библиотеке на досуге.

Через пару дней, вернувшись с прогулки, я заметила на своём столе большую тонкую книгу. «И. Дешкова. Загадки Терпсихоры», – тихо, одними губами, прочитала я название. На передней обложке изображена женщина. Рядом с ней – кавалер в парике и белых перчатках. Позади – силуэты двух балерин в белых пачках. «Наверное, это и есть Терпсихора, – размышляла я, разглядывая книгу, – но вот кто этот мужчина? Непонятно. А две балерины в пачках – это, видимо, мы с Верой». В книге практически ничего не говорилось о музе танца, о той, кто покровительствует танцующим людям, а значит, и мне. И ни слова о её тайне. Я разочарована. Мне подсунули книгу-обманку. «Надо поискать другие, более древние, – думаю я. – Может быть, от них будет больше толку? На Шаболовку больше не вернуться, а я только привыкла проводить так мало времени дома. Что ж... Значит, дорога одна – в царство этой загадочной Терпсихоры. Может, мы ещё и подружимся, почему нет?»

– Шаг влево. Ещё. Ноги по шестой. Замерла. Икры саблевидные, но не критично. Втяни колени. Ещё сильнее. Хорошо. Налево повернулась. Так. Теперь так же направо, – командовал женский голос откуда-то из темноты, постоянно прерываемый щелчками затвора фотоаппарата. – Лордоз. К нам лицом.

Я стояла в трусах на холодном бетонном полу в ярком, ледяном свете двух мощных ламп на фоне белой стены, которая была разлинеена чёрным маркером по всей её гладкой поверхности на большие ровные квадраты.

«Лордоз, – думала я, стараясь не трястись от холода. – Мне десять, у меня прыщи и волосы на руках. Зачем мне ещё и лордоз? Для компании?» Под учебным театром Московского хореографического училища располагалась система запутанных тёмных коридоров, в глубине которых, скрытая от посторонних глаз, спряталась небольшая комнатка, куда нас, девочек и мальчиков, раздетых до трусов, по одному загоняли на эту странную фотосессию. Позади было медицинское обследование, которое не произвело на меня особого впечатления: послушали холодным стетоскопом, заглянули в рот и уши, измерили рост и вес, долго изучали медицинскую карточку, принесённую мамой из районной поликлиники.

А на следующий день состоялся просмотр перед комиссией, после которого мне захотелось встать под ледяной душ и долго-долго тереть себя белой, клокастой от старости мочалкой. В одном из шестнадцати танцевальных залов, расположенных на втором этаже серого, похо-

¹ Гингема – злая волшебница, одна из ключевых антагонисток в сказочном цикле Александра Мелентьевича Волкова о Волшебной стране. Здесь и далее прим. ред.

жего на цитадель здания, спиной к зеркалу за тремя сдвинутыми столами, покрытыми зелёным сукном, сидели педагоги по классическому танцу во главе с самой директрисой.

Когда подошла моя очередь, меня, взяв за руку, проводил на середину зала мрачный и худой мужчина неопределённых лет, в старом пиджаке неопределённого цвета и вельветовых, протёртых на коленях штанах. Много позже я стала замечать эту закономерность: все бывшие артисты балета почему-то имели неопределённый возраст. Взяв меня одной холодной и при этом липкой от пота рукой за плечо, а второй – за ногу, он поднял её к моей голове, суровые преподаватели с безразличными лицами склонились над белыми листами, что-то в них тщательно записывая. Мрачный хватал меня своими лягушачьими лапами, задирали мои ноги, сгибал пополам, заставлял меня прыгать, садиться на шпагат, тянуть подъём и скручиваться в кольцо, а люди за зелёной скатертью всё что-то писали и писали, скрипя под собой разошедшимися от старости стульями. Старые люди на старых стульях.

Я как могла старалась не показывать своего физического отвращения ко всем этим прилюдным манипуляциям с моим телом и, чтобы хоть как-то внутренне отстраниться от происходящего, стала рассматривать лицо директрисы, сидящей по центру, прямо передо мной. Неопределённого возраста, как и у остальных, но не такое серое и безучастное. И какая-то глубинная не то что тоска, а, скорее, фаталистическая печаль в глазах, будто она на секунду, только бросив на меня взгляд, увидела всю мою жизнь, всю до конца, до самого её финала, творческого и жизненного. И, судя по их печальному, скучающему блеску, ничего хорошего ждать мне не следовало.

– Лиза, – внезапно вырвал меня из задумчивости её голос, – ты приготовила нам танец?

Почему-то не найдя в себе сил ответить, я только утвердительно кивнула.

– Тогда покажи его нам.

Ещё раз зачем-то кивнув, я побежала в угол зала. Тощий с жабыми руками сел на стул и, повернув голову к полураскрытому окну, широко зевнул.

В голове заиграла фонограмма русской плясовой с моим сольным куском, той самой, что мне довелось десятки раз исполнять у себя в коллективе, и я, упёршись кулачками в бока, понеслась под слышимый только мне музыкальный аккомпанемент по диагонали зала. Этот танец был абсолютно непохож на тот, что я впервые исполняла перед Алексеем Виссарионовичем давней снежной зимой в спортивном зале школы. И дело тут не в том, что тогда на мне были домашние жёлтые трусы, а сейчас – чёрные, купленные мамой специально для просмотра в хореографическом училище. Сейчас это была пляска маленькой танцовщицы – угловатой и не в меру суетливой от внутреннего морального напряжения, но танцовщицы, а не девочки, изо всех сил старающейся привлечь внимание хоть кого-нибудь на этом свете своими нелепыми подёргиваниями.

В какой-то момент, мельком взглянув на себя в зеркало, я даже заметила что-то наподобие натужной улыбки на своём лице. Я старалась, правда. Старалась так, чтобы загадочная Терпсихора по достоинству оценила если не мои способности, то хотя бы моё желание пойти к ней в услужение и приняла этот дар, это подношение и хоть одним глазком взглянула на меня, пусть даже в образе скучающей директрисы этого серого замка хореографии. Закончив, я остановилась подле приёмной комиссии и зачем-то ещё раз кивнула ей. Директриса, посмотрев на меня с нескрываемым интересом, поманила к себе пальцем. Сделав три шага вперёд, я уткнулась голым, выпирающим пупком в их стол.

– Я задам тебе только один вопрос, хорошо? – легко склонив голову набок, тихо сказала она. – А ты подумай крепко и ответь, но только честно, хорошо?

– Хорошо, – чуть переведя дыхание, выговорила я. – Честно так честно. Задавайте свой вопрос!

– Зачем ты сюда пришла?

– Так получилось, что, кроме как к вам, мне больше некуда идти.

Директриса на секунду задумалась.

– Больше некуда идти, – повторила она мои слова. – Совсем-совсем некуда?

– Совсем-совсем, – подтвердила я.

В голове моей всплыла мордаха моего плюшевого тигра, а его имя – нет. «Это всё потому, что имя ты мне так и не дала, дура», – почему-то сказал он мне голосом Шитиковой и пошевелил нейлоновыми усами.

– Ну, раз так, то, сдаётся мне, ты пришла куда надо.

– Значит, я принята? – спросила я.

– Списки тех, кто прошёл отбор, мы вывесим в центральном холле училища послезавтра.

А теперь ступай.

Я вышла в коридор, где меня ждала бабушка и толпились остальные дети в ожидании своей очереди.

– Ну как всё прошло? – спросила она и погладила меня своей шершавой рукой по голове.

– Нормально, кажется. Послезавтра списки поступивших вывешат на первом этаже. Пойдём в парк, а?

– Ты у меня не голодная? Третий час уже.

– Не голодная ни капельки, – соврала я и потянула её за руку. Гораздо больше мне не хотелось возвращаться сегодня домой. – Пошли уже, ба.

Я стояла у парапета Москвы-реки на Фрунзенской набережной и глядела, как в зеркало, в мутную, с бензиновыми разводами воду. Дома я тоже так часто делала. Подолгу смотрелась в зеркало в ванной комнате. И не для того, чтобы в очередной раз удостовериться, насколько я уродлива, или обнаружить на лице очередной прыщик. Просто представляла себе, как буду выглядеть через пять лет. А через десять? А через двадцать? И когда получалось представить себе в воображении новое лицо, задумывалась: а почему оно стало именно таким? Что в моей будущей жизни происходит такого, отчего у меня уставший вид и морщинки под глазами? Откуда они появились? Это от смеха или от слёз? А слёзы от чего – от радости или от горя? Зачем мне были так важны эти странные упражнения в попытке понять, какой я стану спустя годы? Может быть, потому, что я недовольна тем, как выгляжу и кем являюсь сейчас? Скажу больше: это была не я, точнее, та я, которой мне быть не нравилось совершенно. Ни снаружи, ни внутри. И что-то с этим всем, безусловно, надо было делать. Вот только что?

Кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидела Веру Шитикову. Она шла с мамой в моём направлении. На секунду замешкавшись от удивления, я побежала ей навстречу. Вера, выпустив мамину руку и что-то сказав ей, рванула ко мне. Добежав друг до друга, мы так крепко обнялись, будто не виделись целую вечность.

– Ты почему на занятия не ходишь? Куда пропала? – закричала она радостно мне в самое ухо.

– Ты-то что здесь делаешь? – спросила я, с трудом разомкнув её цепкие объятия.

– Да мы тут неподалёку живём. А ты что, тут одна гуляешь? – удивилась она.

– С бабушкой.

– А где она? – завертела Вера по сторонам головой.

– На лавочке во дворе. Послушай, – я взяла её за руку, – ты умеешь хранить секреты?

– Смотря что за секрет! – лукаво прищурилась она.

– Пойдём! – Я потащила её в ближайшие кусты сирени.

Спрятавшись в их густых ветках, я села на корточки. Вера последовала моему примеру.

– Ну не тяни, выкладывай. Баландин признался тебе в любви? – зашептала она.

– Саша? Ты что, нет, конечно! Мы не общались с того момента, как я перестала ходить в ансамбль.

– А что тогда?

– Я поступила в хореографическое училище. Кажется.

– Ух ты! В МАХУ, что ли? Ну ты даёшь!

– В МАХУ? – не поняла я.

– Московское академическое хореографическое училище. А МАХУ – это сокращённо. Там же табличка при входе висит. Ну ты вообще – поступила, а куда, не знаешь! – Она легонько постучала меня кулачком по лбу.

– Ну как поступила... Ещё не совсем, если честно. Списки прошедших отбор повесят только послезавтра.

– Ни фиги себе! Вот это действительно новость! А почему это секрет?

– Не хочу, чтобы кто-то из наших узнал.

– Что узнал? Что ты теперь на балерину учишься?

– Что поступала и не взяли.

– А, понимаю. Но мне кажется, что тебя взяли. По-любому. Ты же из нас самая способная.

– Ты правда так считаешь? Не врешь?

– Тебе – нет. Самая трудолюбивая – так это точно. И потом, тебе совершенно незачем переживать – если что, я могила.

– Спасибо тебе, Вера. – Я поднялась во весь рост и упёрлась макушкой в зелёные ветки.

– Подожди, – сказала она и, чуть приподнявшись, стянула из-под юбки трусы.

Тонкая золотистая струйка ударила о землю между её коричневых сандалий, попадая на них мельчайшими брызгами. Я подняла глаза, и мы встретились взглядами.

– Не могла больше терпеть, – объяснила она, встав и натянув трусы. – Пойдём, я познакомлю тебя со своей мамой.

– Зачем? – удивилась я.

– Ну как, мы же подруги, – не поняла она.

– Как же мы будем теперь дружить, если я больше не в ансамбле?

– Тем даже лучше. – Она взяла меня за руку и потянула сквозь ветки наружу. – Никакой конкуренции, только дружба, тем более что я теперь всем смогу рассказывать, что у меня лучшая подруга – балерина из Большого театра.

– Ты сейчас серьёзно? – остановилась я в недоумении, когда мы обе вылезли наружу.

Мне было совершенно непонятно, что делать дальше: по-настоящему обидеться или показательно пустить слезу разочарования. Почему непонятно? Мне было в общем-то тогда всё равно, почему со мной дружат. Дружат – уже хоть что-то. Но я загровкой чуяла, что в данной ситуации должна отреагировать как-то радикально негативно на такое высказывание. Тут Шитикова подошла ко мне вплотную и лизнула меня в щёку второй раз в жизни.

– Дура. Я тебя просто люблю. Как подругу. Можешь стать вместо балерины кем угодно. Хочешь, даже дворничихой – мне всё равно. Только не переставай быть собой, хорошо? – скороговоркой произнесла Вера.

– Что плохого в профессии дворника?

– Ничего, наверное. Но и хорошего, я думаю, мало. Просто это не твоё.

– А что моё?

– Восхищать людей. Вот я тобой уже восхищаюсь! Я бы никогда не осмелилась туда пойти. А ты пошла и...

И, не договорив, она побежала к маме, всё это время деликатно ожидавшей нас неподалёку.

Вера что-то увлечённо рассказывала ей, карикатурно жестикулируя, и тянула за руку в мою сторону, а я стояла и почему-то думала о её обоссанных сандалиях и о том, что бабушка, которую я оставила читать газету на скамейке во дворе ближайшего дома, наверное, уже ищет меня.

– Здравствуй, Лиза, я Наталья Ивановна, – подойдя, представилась мама Веры и протянула мне руку. Они с дочерью были очень похожи: зелёные глаза, рыжие волосы и копна веснушек рассыпью на носу и щеках.

– Очень приятно, – ответила я, протянув свою в ответ. Её рукопожатие было лёгким, но властным, а рука на ощупь – нежной и тёплой.

– Мы погуляем с Лизой, ты же не против? – спросила Вера у матери.

– Мне только нужно предупредить бабушку, – выпалила я, не дождавшись её согласия.

– Тогда летим к ней, предупредим – и дело в шляпе!

– Через полтора часа жду тебя у школы, – выкрикнула Наталья Ивановна вслед нам, убегающим в ближайший двор.

– Ба, – переводя дыхание, затараторила я, когда мы подбежали к скамейке, где бабушка коротала время в компании «Московских новостей», – отпустишь с Верой погулять? Недолго – всего полтора часика, а? Веру мама отпустила! А потом домой пойдём, и я всё-всё съем и ни капельки не оставлю. Ну пожалуйста, ба!

– Ну хорошо, – нехотя согласилась она. – Где вас искать-то в случае чего?

– Мы ходим с Верой к училищу, а потом вернёмся сюда, на набережную.

– Через дорогу переходить будете – смотрите по сторонам, – сдалась она.

– Я помню!

И мы, довольные свободой, поскакали через дворы к яблонево́й аллее, за которой спрята́лась серая коробка храма искусства.

– Да видела я твоё училище тысячу раз. – Мы шли за руки, шаркая сандалиями по раскалённому московскому асфальту. – Каждый день вижу. Моя школа – напротив, через дорогу, а дом – около моста через реку.

– Тогда получается, что мы с тобой практически соседи! Я живу на площади Гагарина.

– Ты знаешь, что каждую ночь, ровно в двенадцать часов, он поднимает руки к небу?

– Кто, Гагарин?

– Гагарин разбился на самолёте, памятник поднимает!

– Врёшь, сколько живу – никогда не видела.

Мы вышли на аллею. Яблони уже давно отцвели и грустно торчали из земли лысыми короткими стволами.

– Большакова, у тебя память короткая? Я же сказала, что тебе я не вру.

– Получается, сама видела?

– Сама – нет, но точно знаю, уж поверь. Мы с тобой обязательно как-нибудь пойдём и посмотрим.

– Меня так поздно не отпустят гулять, – грустно вздохнула я.

– Со мной отпустят, – многозначительно произнесла Вера. – Смотри, какие большие окна!

Мы остановились перед высоким металлическим забором, отделяющим территорию училища от внешнего мира. Посередине огромным серым айсбергом приплюснутой кубической формы возвышалось само здание. Массивное, с крупной пристройкой, соединяющейся с основным корпусом коридором, прозрачным из-за стёкол в полный рост.

– Как там внутри? Красиво? – спросила Вера, разглядывая строение.

– Красиво? Нет, – задумалась я. – Там другое, не про красоту.

– Хореографическое училище – и не про красоту? Ты балет по телевизору видела вообще? Это же очень красиво!

– Красиво, – согласилась я. – Наверное, балерины забирают всю красоту отсюда с собой.

– Куда с собой?

– Не знаю, в театр, наверное.

– Ты была в нём?

– В театре? В Большом?

– Ну да.

– В Большом – ещё нет, но обязательно буду. Вот поверь.

– Я-то как раз тебе верю. Обязательно будешь.

– Откуда ты знаешь?

– От верблюда. Просто знаю, и всё.

Вера отпустила мою руку, взяла за плечи и повернула к себе лицом:

– Мы с тобой будем дружить. Всю жизнь. Что бы ни случилось. Ты станешь великой и самой известной балериной, а я – богатой, потому что выйду замуж за американца, ну или за француза, я ещё не решила. Я буду лучшей и единственной твоей подругой, а ты – моей. Буду приходить на твои спектакли в первый ряд и говорить: «Смотри, Майкл, или Пьер, или как его там будет звать, это Большакова, моя лучшая подруга». И буду сидеть, смотреть и гордиться во все глаза.

– Почему? – спросила я.

– Почему что? – не поняла Вера.

– Мы будем с тобой лучшими подругами всю жизнь?

– Потому что противоположности притягиваются, как магнетики. Плюс и минус. Ты – вся такая звезда с великой судьбой и таинственной жизнью, где-то за завесой кулис, а я – на крутой машине. В тебя влюбляются и страдают, потому что тебе не до этого – ты в искусстве, а у меня трое детей, муж иностранец, ну, ты уже в курсе, и любовник – главный отвергнутый тобой поклонник.

– Ого! Мой, значит? Как это понимать? – Я заливаюсь смехом и ударяюсь лбом о Верин нос.

– Ну а как? – Она чешет ушибленное место и начинает смеяться вместе со мной. – Кому ещё, как не лучшей подруге, утешить этого бедолагу, а то ещё с крыши сбросится от неразделённой любви, и будет в твоей жизни два пятна: одно, красное, – на асфальте, а другое, чёрное, – на твоей репутации. А так нельзя – ты же будущий белый лебедь!

– А вдруг я не белый, а чёрный? – Я резко становлюсь серьёзной и пристально смотрю на подружку.

– Ты – чёрный? – Она перестаёт смеяться. – Не-а, для чёрного ты не годишься.

– Это ещё почему? – Я отступаю на шаг и картинно ставлю руки в боки.

– Только в пляс не пустишь. – Вера подмигивает и вытанцовывает несколько па из нашего номера. – Народные танцы – в прошлом, впереди – пуанты и Большой театр!

– Ты не ответила! – Я повторяю за ней движения, и мы опять начинаем смеяться как сумасшедшие, хватаемся за руки, скачем как угорелые и в конце концов в обнимку, под удивлённые взгляды редких прохожих, гогоча, падаем в куст сирени.

Глава вторая

Demi, grand plié

– Большакова, я задала тебе вопрос! – Острые как бритва ногти Нинели Михайловны впиваются в мою лопатку. – Кто и где тебя так учил делать plié?

Я стою на боковом станке, лицом к окну. Руки на палке на ширине плеч, все пять пальцев каждой сверху ненавистной деревяшки. Как быстро я научилась её ненавидеть! Ноги по первой выворотной позиции, без завала. Вроде бы. Плечи опущены, пятки будто пригвождены к полу, подбородок «на полочке», ягодички, или, как говорит мой новый педагог, «хвост», втянуты и, по-моему, прилипли к костям таза. Я стараюсь исполнить это чёртово полуприседание как можно выворотнее, колени идут по линии стопы. Кажется, что идут, или мне только хочется, чтобы они шли в этом направлении?

– Большакова, ты оглохла от натуги? – кричит она прямо мне в ухо, и её острые ногти ещё глубже впиваются мне в кожу.

У неё криво покрашенные губы и ровные, жёлтые от постоянного курения зубы, от которых за километр смердит табаком и гнилью. Небольшого роста, с вечно залаченными волосами, собранными по старой балетной привычке в тугий маленький пучок, она напоминает мне ворону, иногда высушенную на солнце воблу, а в те дни, когда уж слишком сильно орёт на меня, эти два образа смешиваются, и Нинель Михайловна предстаёт предо мной в виде чёрной рыбы с крыльями и клювом. И сегодня как раз один из таких дней.

– Отвечай, дура! – каркает рыба и отвешивает мне звонкий подзатыльник.

– Вы же знаете кто, – цежу я сквозь зубы. – Зачем спрашиваете?

– Нахалка! – Она бьёт меня ладонью по колену. – Хочешь сказать, Алексей Виссарионович учил тебя делать так невыворотно? И пятки отрывать от пола он тебя тоже учил?

«Чёрт, – проносится у меня в голове, – пятки, будь они неладны. Оторвала. И вправду. Чёрт!»

– Сегодня же позвоню ему и расскажу, каких бездарных учениц он мне подсовывает! Сядь, сядь, я сказала, дрянь тупая. Не дёргай, плавно, вот так. Ещё раз!

Я заливаюсь пунцовой краской стыда – то ли перед своим первым педагогом, то ли оттого, что остальные девочки в зале всё это слышат. Пошёл уже восьмой день наших мучений, и нам не привыкать. Нас двадцать. Десять девочек и десять мальчиков. Обычные уроки вроде математики или русского языка идут вперемешку с танцевальными дисциплинами. Классический танец. С него начинается наш день. Шесть раз в неделю по полтора часа. Заканчивается учебный день в семь вечера. Пока в семь. Потом, через год, начнутся репетиции танцевальных номеров для выступлений, и учебный день растянется до девяти, а домашнее задание, как в обычной школе, никто не отменял. Ещё и уроки игры на фортепьяно. Не часто, два раза в неделю, но от них почему-то тошнит больше всего. Тошнит и во время сорокапятиминутного перерыва на обед, и есть паровую котлету с вонючим пюре или же тёртую морковь с сахаром совершенно невозможно. Наверное, это от физических нагрузок. Но, сидя в большой, яркой от избытка окон столовой, что находится на первом этаже, мы, распределившись по четверо за столами, с усердной покорностью и обречённой необходимостью впихиваем в себя эту не самую вкусную, но, по всей видимости, очень полезную для нас, будущих артистов балета, еду. Иначе, если не будешь нормально есть, точно протянешь ноги через неделю-другую.

Помимо столовой на первом этаже расположились медчасть, кабинеты директрисы и её многочисленных замов, на втором – шестнадцать балетных залов и раздевалки для мальчиков и девочек, разнесённые по разные стороны здания. К слову, все хореографические дисциплины у нас с мальчишками пока проходят отдельно. Встречаемся мы с ними только на коротких, по

пять минут, переменах и на общеобразовательных дисциплинах, кабинеты которых расположились на третьем этаже. Там же находятся интернат для иногородних, классы по фортепьяно, учебная часть и маленькая, но довольно уютная библиотека. Ещё есть учебный театр, где проходят концерты производственной практики и репетиции больших выступлений. Но пока нас туда не пускают, да и незачем, наверное.

Хотя тут я лукавлю, мы были там два раза: первый раз, когда фотографировались для личного дела в сыром и страшном подвале, а второй – первого сентября. Торжественная, по мнению руководства училища, линейка проходила прямо на сцене, где нас, перепуганных и нарядных, с разностоймостными, сообразно семейному достатку, букетами цветов построили шеренгами в несколько рядов с одной стороны, а выпускной курс – с другой. Директриса толкнула пламенную речь перед родителями, родственниками и друзьями учащихся, переполнявшими зал. Выпускники вручили нам по паре новеньких, пахнущих клеем и западнёй пуантов, мальчикам – мягкие балетные туфли асфальтового цвета. Этаким символический жест, правда, что он символизировал, догадаться было непросто. Какой символизм может быть в паре новых туфель? Вот если бы мне подарили старые, ношенные, с ДНК в виде капель крови и пота их владелицы, то, не ровён час, я стала бы обладательницей редкого артефакта, принадлежащего, возможно, будущей звезде хореографии, хотя с моим везением эти шансы стремились к нулю.

Повертев пуанты в руках, я попыталась в темноте зала отыскать родителей, но наткнулась на Него. Он сидел в первом ряду партера, практически по центру. Мы встретились глазами, я, почему-то глупо улыбнувшись, замахала Ему рукой с зажатыми в ней пуантами, а Он, махнув мне в ответ, достал откуда-то из-под полы своего пиджака фотоаппарат и, наведя объектив на толпу детей со мной по центру, сверкнув вспышкой, сделал снимок. Потом этот снимок, всплывший из небытия повседневности, отыщется в одной из старых пыльных коробок, будет помещён в рамку и провисит на зелёной стене Его квартиры много-много лет. С чего я так решила? Ума не приложу, но что будет именно так, почему-то знала наверняка.

Танцевать, по мнению здешних педагогов, мы ещё не умеем, так, делаем первые робкие шаги, хотя несколько девчонок из моего первого «Б», как и я до поступления сюда, уже ходили в разные танцевальные кружки и коллективы. Говорят, что архитектор получил за проект этого здания Ленинскую премию. Ну, премию того самого кучерявого карапуза, что украшает мой октябрятский значок. Я считаю, вполне заслуженно, ведь придумать и спроектировать пристанище богини танца таким образом, чтобы в нём не было и намёка на что-то возвышенное и эфемерное, – это, на мой взгляд, вполне себе в традициях советского мышления в градостроительном плане и точно заслуживает внимания. Хотя бы и в виде тридцати сребреников. Всё подчинено процессу, достижению результата, но все мы прекрасно помним, что жизнь при коммунизме нам обещали уже к восьмидесятому году, а вместо этого провели Олимпиаду. Красиво и с помпой закрыли хоть и провальный, но довольно милый проект по осчастливливанию людей на отдельно взятой шестой части суши. Олимпийский мишка улетел, а с ним – и мечты каждого советского человека о прекрасной жизни, где с каждого – по способностям и каждому – по потребностям. Способностей у современных людей всё меньше, а на потребности у населения нет денег, что делает их роскошным максимумом, хотя они как были базовым минимумом, так и остаются по сей день.

Ещё ходили слухи, будто во внутреннем дворе училища, по замыслу того самого архитектора, должен был располагаться бассейн, но, как мне кажется, это сочли чрезмерным: второй бассейн на месте храма, хоть и богини из совсем другого пантеона, – это уж слишком. Поэтому во дворе теперь уже моего хореографического училища располагается нечто в виде бетонной площадки размером с несостоявшийся бассейн. Мальчишки иногда играют там в футбол, выкроив десять-пятнадцать минут от обеденного перерыва. И хотя подобные развлечения у нас вроде как строжайше запрещены, педагоги и начальство закрывают на это глаза. Впрочем, как я узнаю позже, здесь, в отличие от многих обычных школ, на многое закрывали

глаза. Быть может, потому, что преподаватели сами были людьми искусства и дух бунтарства и лёгкой вседозволенности поселился в их душах, как червячок в августовском яблоке, эдакой наградой за невероятный физический труд в прошлом и искалеченную жизнь в настоящем? Возможно, это только мои личные наблюдения, не более того.

Три абсолютно разных по назначению этажа объединяло множество огромных, выше человеческого роста, даже не окон, а гигантских оконных проёмов, из которых открывался вид на внешний мир: на улицу, внутренний двор и территорию училища, закрытую для обычных жителей Фрунзенской набережной. Смотрите, маленькие служители Терпсихоры, там, за стеклами, простой, прекрасный мир, а тут – клетка, в которую вы залетели по собственному желанию, и, наблюдая, как жизнь проходит по ту сторону, вы стоите, вцепившись в деревянную палку, и не можете правильно сделать какое-то банальное полуприседание.

– Это *demi-plié*, не *grand*, куда ты провалилась, дура! – кричит мне в ухо Ворона с рыбьим телом, а я смотрю в окно и, видят боги, стараюсь, изо всех сил стараюсь сделать это чёртово движение правильно.

В отличие от моей обычной школы, в хореографическом училище нам сразу в открытую заявили, что друзей здесь нет, а есть конкуренты. И год от года будет только хуже. Кто заявил? Да все: Ворона прокаркала на первом же занятии, преподаватели общих дисциплин неустанно напоминали нам об этом, даже дежурные тётки по этажам, а у нас были и такие, следящие за порядком и поведением учащихся. Они то и дело косо поглядывали на нас, когда мы сбивались в стайки и приветливо болтали друг с дружкой на переменах. Дружить и общаться между собой нам, конечно, никто не запрещал, но посматривали на такое общение и уж тем более на проявление какой-либо симпатии со скепсисом и вполне себе с нескрываемым неудовольствием, а бывало, даже и с явной насмешкой, из-за чего первое время мы, как испуганные хорьки, старались держаться поодиночке, нервно озираясь по сторонам, при этом с насторожённым интересом разглядывая друг друга. С другой стороны, кто такие, по сути, школьные друзья? Друзья, случившиеся сами собой. Просто дети, встретившиеся в одном месте в одно время, не более. Но тогда нам этого было не понять, и мы, социальные маленькие люди, подсознательно тянулись друг к другу, несмотря на все препоны.

Природа в нашем случае – всё-таки это не только физические данные. Мы все их имели, все вроде бы любили танцевать, но до финишной прямой доползти суждено было лишь истинным фанатикам своего дела, без раздумий готовым променять свою земную жизнь на эфемерную славу и реальное одиночество. И если из нас десятерых одной и суждено было в будущем стать настоящей звездой, примой в театре, то для этого должны были так сойтись светила на небе, что это было практически невозможно. Даже не исключение из правил – техническая ошибка, сбой в системе. Ведь на пути к результату нам мешало абсолютно всё, начиная с собственного характера, заканчивая риском в любой момент получить травму, несовместимую с нашей профессией. Кто из моих одноклассников жертвенно, фанатично, как я, пришёл сюда, в этот бетонный замок искусства, отдать свою жизнь Терпсихоре? Сколько из них, стоящих сейчас, так же как и я, у палки и в сотый раз делающих одно и то же движение, случайных, приведённых помимо своей воли за руку мамой или бабушкой, мечтавшей когда-то стать балериной, а сейчас решившей воплотить несбывшуюся детскую мечту ценой судьбы ни в чём не повинной дочери или внучки?

Тогда, в первом классе, это было абсолютно непонятно. Наверное, что-то понимала Нинель Михайловна, доверяясь своему педагогическому опыту и чутью, рассортировав нас по станкам по одному только ей понятному принципу. Подающих, с её точки зрения, надежды девчонок она поставила на средний станок, «серых лошадок», как она любила повторять, – на правый, у окна, а тех, чьё отчисление маячило уже на полугодовом экзамене, – на станок слева, как говорили у нас – «под рояль». За роялем сидела дама неопределённо пожилого возраста, которую Нинель Михайловна называла Ниночкой: «Ниночка, будьте добры, нам *battement tendu*

jeté на четыре четверти. Чуть спокойнее, Ниночка, не загоняйте темп, эти коровы не справляются. Ниночка – вальс!» С Ниночкой Нинель максимально учтивая, не то что с нами.

– Не можете вытянуть колено? – срывается она на крик в адрес девочек на левом станке. – Наберём тех, кто сможет! Не умеете исправлять ошибки после первого замечания? Зарубите себе на носу, девочки: всё, чего вы не умеете, кто-то обязательно умеет! У меня там, за дверью, очередь из желающих! Хватит занимать чужие места в жизни – двойку на экзамене я вам гарантирую! Потом документы в зубы – и шуруем через дорогу в обычную школу – вас ждут там! Сюда вы попали случайно, вам просто повезло, что я не была в приёмной комиссии.

Вспоминая свои детские ощущения от первых уроков с Нинелью Михайловной, я до сих пор мысленно вздрагиваю. Нет, я прекрасно понимаю теперь, что ей, подобно скульптору, надо было отсечь от нас, маленьких каменных истуканчиков, всё лишнее, явив миру волшебство грациозной статуэтки неземной балерины. Соскоблить своими острыми ярко-красными ногтями всё то, что уже успело налипнуть на наше молодое тело за такое недолгое плавание в этом океане человеческого мусора и бактерий. Излечить нас от страха, открыть все самые потаённые дверцы в наших душах и вымести поганой метлой оттуда прочь всех этих больных демонов, оставив лишь пустую форму, бабашку, которую Терпсихора наполнит волшебством и трепетом, рождающимся в сердцах зрителя, созерцающего танец юной танцовщицы. Излечить нас от самих себя, получив взамен собственное бессмертие в виде восьми строчек в «Энциклопедии русского балета», в разделе «Великие педагоги». Но когда врач входит в палату к больному, последнему должно становиться легче. Когда в зал входила она, нам хотелось умереть. Но мы так уставали, что, плетясь после урока классического танца в раздевалку, чтобы, не снимая балетную форму и натянув на себя майку и штаны, потащиться на урок русского языка, у нас не было сил ни на смерть, ни на злобу, ни на какую-либо рефлексию, вызванную раздражением от диссонирующего с еле заметными вибрациями наших уставших душ и тел мира. Ворона давала нам счастье страдания, но как ребёнку за страданием разглядеть счастье?

Сидя в раздевалке на деревянной скамейке и сняв балетную обувь, я рассматривала свои ступни. «Замечательно, и как теперь быть-то?» – негодовала я про себя. За эти несколько дней образовались здоровенные мозоли. Хотя этот вопрос, рождённый в моей детской голове, был, скорее, риторический. Как душа, представлявшая собой мозоль, появлялась от трения сердца с внешним миром, так и волдыри на моих пальцах имели вполне себе объяснимую причину возникновения.

– Со временем загрубеют, и перестанешь их замечать, – с умным и грустным видом произнесла Ника Комиссарова, тощая, с впалыми глазами и огромным подъёмом девчонка, плюхнувшаяся рядом со мной и обречённо разглядывающая вместе со мной мои ноги. – Ты, главное, не запускай, прокалывай иголкой, а потом аккуратно срежай. Сверху пластырем залепишь, и можно ходить.

– Откуда знаешь? – устало поинтересовалась я.

– Мама объяснила. – Наклонившись, она надавила подушечкой указательного пальца на волдырь и со знанием дела хлопнула носом. – Этот срежь сегодня же, а то лопнет по дороге домой и натрёшь ногу до крови. Ты же не из интерната вроде? Москвичка, да?

– Ага. – Я посмотрела на неё с нескрываемым интересом, а сама подумала, что сказала бы, глядя на мои ноги, мама.

В раздевалку залетел второй «А» класс, и, игнорируя наше присутствие, – за год они уже сплотились в подобие некоего полуживого организма и осторожно окружали холодом чужих ему людей, – дети начали быстро переодеваться. Судя по тому, что они были ещё преисполнены сил, по расписанию первой парой у них стояли общеобразовательные предметы. Это нам, бедолагам, выпало каждый божий день начинать с классического танца. С другой стороны, отстрелялась, пережила самое страшное и тяжёлое – и дальше вроде как и легче, что ли. Мы, первоклашки, делили одну из четырёх раздевалок со вторым классом, третий соседствовал с

четвёртым, пятый – с первым курсом и так далее. Те из нас, кому суждено остаться в стенах училища на следующий год и перейти во второй класс, просто переедут на другую сторону раздевалки, в шкафчики бывших второклашек, и к ним поделят новичков, а новоиспечённый третий класс переедет в соседнюю раздевалку к третьеклашкам, ставшим четвёртым классом. Так что второй класс, с которым мы делим раздевалку сейчас, по окончании этого учебного года увидим только через двенадцать месяцев.

Эта нехитрая система перемещения детей, по задумке руководства, должна была не допустить детской дедовщины и обрывать затяжные конфликты, если такие возникали. Неудивительно, но, несмотря на постоянную физическую усталость и загруженность, неофициальная и жёсткая иерархия не только между мальчиками, но и нами, девочками, всё же была, и в этом вопросе не стоит пренебрегать правом на брезгливость, а сказать как есть: мы оказались страшными детьми, и страшнее наших личностей была только наша участь. Или мы стали такими в этих стенах? Как знать, но факт остаётся фактом: выживать в ситуации максимального каждодневного испытания могут лишь восхитительно жестокие. А как иначе, ведь балет – это восхитительная жестокость. Хитрые дети, имеющие за пазухой гораздо больше масок, чем у обычного, среднестатистического взрослого человека.

Дома мы представляли перед родителями изнеможёнными детьми, всем своим видом доказывающими, что филиал детско-юношеской каторги реально существует на просторах позднего СССР, на общеобразовательных предметах мимикрировали под сонно-сосредоточенных сов, тараша на преподавателей слипающиеся от недосыпа глаза, стараясь моргать в такт их речам, а на танцевальных дисциплинах изображали трудолюбивых, покорных осликов, смысл существования которых сводится лишь к тому, чтобы реагировать на опережение, а не на момент, когда психологический хлыст воспалённого от профессиональной деформации учительского ума в очередной раз больно ударит нас по психике. А настоящие мы, лезущие наперегонки на вершину, подгоняемые нашими педагогами, уже каким-то чутьём замечательно понимали, что там, на вершине, лишь одно место, а нас много. И на этом пути мы за будущие восемь лет учёбы здесь возведём издевательство, подставы и унижение себе подобных в культ, поднимем до таких аморальных высот, что доблестная Советская армия со своей дедовщиной будет казаться по сравнению с нами детским садом.

Но одного мы, будучи неумными и абсолютно духовно безграмотными детьми, не понимали тогда совершенно. Что в какой-то момент жизни тем, кто всё-таки дополз до вершины горы, хочешь не хочешь, а придётся спускаться. И вот тогда мы встретим на обратном пути всех тех, с кем начинали восхождение, а они вряд ли простят нам всё то, что мы сотворили с ними, ну а мы, в свою очередь, не простим им. Там, наверху, все те, кто дотянется до возделенной вершины горы, будут думать, что это их последняя война, а окажется, что это их последняя победа. В конкурентной борьбе, начавшейся с раннего детства, нам как-то забудут рассказать, что цинизм никогда не способствовал культуре ни в какой её форме, но не оттого, что желали нам зла, а лишь потому, что лик Терпсихоры, как и любая другая монета из числа тридцати сребреников, имеет и обратную сторону. Педагоги, бывшие артисты, быть может, таким образом оберегали нас до поры до времени от этой ужасной тайны, в любом случае на первом этапе мы всеми фибрами души хотели верить в это. И верили. Или хотели верить? Или я заблуждаюсь на этот счёт, ведь прошло так много времени...

Ника Комиссарова была фавориткой нашей Вороны, стояла на середине центрального станка, доводя своим шикарным подъёмом, огромным шагом и высоченным прыжком до состояния искушенных от зависти в кровь губ большинство девочек в классе. Я и Настя Дёмушкина, девочка, приехавшая из Саратова, держались в этом плане особняком, задвинув чувство ревности к успехам Комиссаровой в угол сознания, изо всех сил стараясь не отставать от неё: тянуть подъём сильнее, поднимать ногу выворотнее, прыгать выше и не пропускать ни единого замечания педагога. Комиссарова – мой личный недосыгаемый горизонт на долгих

восемь лет, который впоследствии окажется просто миражом в пустыне моих детских заблуждений, просто линией, отделяющей желаемое от действительного. Я перешагну её, словно трещину на асфальте, и пойду дальше, а она, оставшись позади на какое-то время, разрастётся и, ломая всё на своём пути, устремится за мной.

Но это будет потом, а сейчас, глядя в зеркало, как Ника встаёт в arabesque, я стараюсь всё сделать – нет, не хуже – лучше неё. Молча, терпеливо, сжав ягодички и зубы. Настя, стоявшая спереди меня, не отставала. Единственное, чем я по-настоящему могла похвастаться, так это высоким прыжком. Шаг у меня, как оказалось, средний, подъём – так себе, выворотность – нормальная, но не совершенная, а вот прыжок – действительно впечатляющий. На него я и решила делать ставку: пережить станок, не шлёпнуться на пятую точку на середине, а дальше наступал мой звёздный час – *allegro*, а если по-простому – комбинации прыжков. Нинель Михайловна, наконец как следует разглядев меня, зависающую дольше всех в воздухе, даже разрешила на эту часть урока встать в первую линию. Правда, не по центру: его, как и у станка, заняла Комиссарова. Но прыгала я всё-таки выше.

Дни шли, осень приближалась к середине, и мы вместе с ней – к середине учебной четверти. Мозоли на ногах грубели, изучаемых движений становилось всё больше, Ворона орала всё громче, чувствуя то ли приближение первого снега, то ли маячивший на горизонте полугодовой экзамен по классическому танцу. Помимо него наши тела мучили гимнастикой, народно-характерным и русским танцами. И если гимнастику мы любили и понимали, что на этом предмете нам дают возможность хоть как-то улучшить гибкость наших тощих, костлявых тел, то народные танцы давались нам, несмотря на то что, в сущности, они были легче классического, с большим трудом. Даже мне, привычной к народной обуви и этой координации, они стали чужими, словно, снимая балетки и надевая каблуки, я залезала не в свою, а в неудобную, будто не по размеру, кожу. Прямые позиции, скошенные стопы в некоторых движениях, то же *plié* иногда коленями вперёд – всё это диссонировало с тем, что мы так усердно оттачивали в классе с Нинелью Михайловной.

Особняком для нас, девочек, стоял историко-бытовой танец, единственный танцевальный предмет в первом классе, который проходил совместно с мальчиками: потные ладони, запах подмышек, их и мои подростковые прыщи – этот опыт надолго отобьёт мой сексуальный интерес к противоположному полу, а спустя несколько лет дуэтный танец, где нас те же, но уже повзрослевшие мальчики вволю потискают за все возможные места в попытке сделать очередную поддержку, окончательно отвратит меня от мужского тела. Это не значит, что я никогда не спала с мужчинами, вовсе нет, просто каждый раз в постели с самцом в нос мне ударял непрошенный запах мальчишеского пота из моего детства.

Приходя домой из академии, я, перед тем как залезть под душ, стала тщательно обнюхивать себя, пытаюсь понять, неужели я пахну так же отвратительно. Искусно изогнувшись, я попыталась понюхать себя между пальцами ног, в подмышках, во всех местах, куда только могла дотянуться, стала подолгу мучить и себя, и старую мочалку в ванне, стирая кожу практически до крови, – а что оставалось делать? Дезодоранты ещё не появились на полупустых прилавках наших магазинов, а пахнуть так же жутко, как некоторые мои одноклассники, я не могла, не понимая ещё, что в этом плане быть незаметной – очень высокий творческий навык. Я читала об одном странном юноше, воспринимавшем весь мир через запахи, – одна из книг на нашей полке, попавшаяся мне на глаза. Но у нас с ним были разные задачи: юноша, не имевший от природы собственного запаха, с помощью синтеза чужих ароматов хотел покорить мир, я же, как кошка, – избавиться от этой своей физиологической метки навсегда, а покорить мир – заманчивая мысль, но не так ведь?

После окончания всех уроков мы усталыми тенями разбредались кто куда: кто в интернат, кто до ближайшей станции метро. Практически каждый день меня, вечно голодную и с потухшим взглядом, дожидалась после занятий Вера, сидя на гранитных ступеньках академии.

Завидев, как я с натугой открываю тяжеленные деревянные входные двери и вываливаюсь в московский вечер, она вскакивала, подбегала ко мне и брала за руку.

– Пошли? – спрашивала она, глядя в мои потухшие, словно разбитые подъездные лампы, глаза.

– Пошли, – смиренно кивала я, и мы шли бродить по дворам Фрунзенской набережной, пиная по асфальту первые опавшие листья.

– Рассказывай! – тихо, но с еле сдерживаемым любопытством просила Вера.

– У них там всё по-своему, – понимая, что не отверчусь, неторопливо начинала я. – И стопу тянем мы не так, и ногу поднимаем не туда, и вообще, знаешь, я, наверное, уже не хочу.

– Чего не хочешь? – удивлялась она.

– Ничего. Ни ходить сюда, ни слушать оры нашей училки. Знаешь какая она злая? Ты даже представить себе не можешь! – И в доказательство оголяла расцарапанное Вороной плечо.

– Ни фиги себе! Это она вас так?

– Ну а кто?

– Ошалеть вообще! Как такое может быть? Ты родителям говорила? А они это видели? – брызжа слюной от негодования и злобы, шипела Вера.

– Да видели, конечно.

– И что?

– Да ничего! Сказали, что так и должно быть, что, значит, я небезнадёжна, раз педагог так надо мной бьётся.

– Бьётся? Да она вас тупо бьёт! Они что, разницы не видят?

– Не знаю, может быть, и видят. Мне кажется, это странно, но я и сама потихоньку начинаю верить, что она всё делает правильно.

– Правильно?

– Ну да, а иначе просто не получится.

– Не получится что?

– Выбить из нас лень и дурь и вытащить наружу суть.

– Суть? Какую ещё суть? – не унималась Вера.

– Сложно объяснить, – мялась я. – Когда Ворона говорит про это, нам, ну, всем девочкам в классе, это понятно. А другим объяснить не можем. У нас с ней свой язык. Какой-то птичий, что ли.

– Вы там что, каркаете друг на друга?

– Да ну при чём здесь это? – злилась я. – Забудь, я же говорю: тебе не понять. Пойдём лучше на мост!

И мы шли на мост, на эту старую железобетонную конструкцию, скрипучую, будто готовую развалиться и с грохотом рухнуть в мутную, с бензиновыми разводами воду Москвы-реки своей огромной тушей, и несли туда недосказанность, и плевали с него её остатками вперемешку со слюной в тщетной попытке попасть в редко проплывающие под нами прогулочные теплоходы. Перейдя мост, мы спускались к набережной Нескучного сада и, взобравшись на гору возле старого монастыря, оказывались у двух небольших заброшенных озёр, в цветущей воде которых неспешно плавали редкие утки. Не попав по людям, мы пытались отыгаться на водоплавающих, бросая в них маленькие камешки, валявшиеся на берегу. Утки пугались и перелетали с места на место, баламутя воду и гоняя мальков, пригревшихся в ещё не до конца остывшей воде.

– Мальчишки симпатичные у вас в классе есть? – Вера бросила очередной камешек и практически попала одной утке по голове. – Блин, в миллиметре от цели!

– Наверное. Я не всматривалась. Зачем мы бросаем в них камни?

– Не знаю, почему нет? Стесняешься?

– Мучить уток?

– Смотреть на мальчишек.
– Стесняюсь мучить уток. Зачем? Давай не будем. Да, может, и посмотрела бы, но им тоже не до этого.

– А до чего?

– Не знаю, до чего, вот ты пристала. Потееют они, вот чего. И пахнут.

– Все потеют и пахнут. Я тоже, и ты, кстати. Отчего потеют – жарко у вас там?

– Нервничают, стараются, вот и потеют. Польку выучи, менуэт выучи – голова кругом идёт.

– Менуэт – это что?

– Танец такой. Очень старый.

– Покажешь?

– Давай. Встань справа по третьей свободной позиции. Руки – вот так, как у меня. Впол-оборота. Да не к уткам, а ко мне. Будешь за мальчика.

– Почему я за мальчика? Хотя ладно, давай показывай!

– На вступление я подаю тебе руку, ты кладёшь свою сверху, правильно. Не смейся. Потом *plié*, потом *relevé*, опять *plié*, и правую ногу открываем в сторону. Молодец. Перешли на неё, левую вытянули в подъёме. Не коси его так, ты можешь нормально тянуть? Хватит смеяться, я сейчас перестану показывать, и будешь кидать камешки в уток, как дура! Ну Вера!

Мы смеялись и танцевали менуэт Моцарта, ещё понятия не имея, кто такой Моцарт и почему этот странный старинный танец называют в его честь. Прохожие засматривались на нас, двух смешных девчонок, танцующих у заросших прудов на Воробьёвых горах. Не знаю, если счастье – тот момент в жизни, в который хочется вернуться, то это, безусловно, оно и было. Тогда я была счастлива. И, вероятно, утки, в которых мы перестали бросать камни, и эта осень, окрасившая набережные Москвы-реки в непостижимый багрянец, и эти прохожие, завидевшие двух беззаботных хохотушек, отплясывающих странный танец, ни на кого не обращающая внимания.

Потом у одного гениального, но точно сумасшедшего автора я натолкнулась на интересную мысль. Суть её в том, что в языке существуют слова, которые не указывают ни на что и ни на кого, а лишь на самих себя, и «счастье» в его понимании – одно из таких слов. В дальнейшем эмпирическим путём мне на собственном опыте придётся убедиться, что к таковым относится и слово «любовь». «Любовь» и «счастье» – два существующих во всех языках мира обозначения для несуществующих понятий, ибо, если каждый субъект трактует их смысл по-своему, где же тогда истинный объект, точка отсчёта, исходная базовая идея? Позже к их компании я от себя добавлю «красоту».

В этой стране число «три» – сакральное число: Отец, Сын и Святой Дух будоражат умы бабушек в церкви; три алкаша на детской площадке будоражат умы трёх милиционеров, празднично шатающихся по улочкам Москвы; три богатыря на картине Васнецова вечно вглядываются в горизонт; три танкиста и собака, не вписывающаяся в концепцию мистической тройки, но это же всего лишь собака. В нашу с Верой дружбу в скором времени тоже ворвётся – нет, не собака – третий человек, но от этого она не угаснет, не станет прочнее, а обретёт некую не по годам взрослую осознанность, которой у нас, хохотушек у пруда, ещё не было. Всё будет потом, всё будет позже, но это «позже» надвигалось на нас быстрее, чем я могла себе представить.

Глава третья

Battements tendus

Страх вытесняется только злобой. Через три месяца в училище я убедилась в этом окончательно. Я обозлилась: на себя – за собственную телесную и умственную немощность, за невозможность сделать всё сразу и так, как требует педагог; на учителей общеобразовательных предметов – за то, что, несмотря накратно увеличившиеся нагрузки, они задавали нам дикое количество домашних заданий; на кровавые мозоли, появившиеся сразу после того, как нас поставили на пуанты и мы, как коровы на льду, пытались хоть как-то сделать в них первые танцевальные элементы.

Зато я абсолютно перестала бояться криков и оскорблений Нинели Михайловны, научившись отделять от них, как зёрна от плевел, замечания. Перестала бояться новых сложных движений, одноклассников и серых, сумрачных тёток, обитавших в методическом кабинете, куда нас, видимо, втайне от советского режима, водили смотреть видеозаписи балетных перебежчиков. Как только Ворона замечала, что класс выдохся физически и стух морально, она, как мать-гусыня, собирала нас вокруг себя, и мы тихо, практически на цыпочках, шли за ней на первый этаж смотреть запрещёнку. Вдохновляться, как говорила она.

Это было очень странно. На уроках по истории балета нам рассказывали, как гениально танцуют Екатерина Максимова и Владимир Васильев, какие шедевральные образы демонстрируют советскому зрителю Марис Лиела и Софья Головкина, про замечательных характерных танцовщиков Сергея Кореня и Ярослава Сеха, о гениальных постановках Мариуса Петипа и Юрия Григоровича, а демонстрировали записи выступлений Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова и Натальи Макаровой. Тех, кто здесь считался предателем Родины. А на Нурееве после его легендарного побега во французском аэропорту ещё много лет висела статья за мужеложство. Парадокс: рассказывали об одних, а показывали других. Может быть, они уже тогда понимали, что нафталин, привезённый в Лондон в пятьдесят шестом году во главе с Улановой, – это, как говорила наша педагогиня по французскому языку Светлана Юзефовна, *passé composé* и не стоит посыпать им умы прогрессивных зрителей загнивающего Запада, взрослых на творчестве Боба Фосса и Мориса Бежара?

В восемьдесят девятом попасть в Большой театр было так же сложно, как и сейчас, поэтому с «Жизелью» в постановке Матса Эка со всей его сумасшедшей и удивительной современной хореографией мы познакомились гораздо раньше, чем с классической версией того же Петипа. Тогда-то я впервые открыла для себя современный танец. Могу лишь догадываться, какое впечатление он произвёл на других девчонок. Культ хореографического целомудрия, потихоньку растворяющийся вместе с Советским Союзом, но всё ещё существующий в нашем сознании, всегда имел понятную природную изнанку: чем сильнее запрет, тем больше страстная тяга к запретному. Не знаю, что тогда остановило меня от желания прильнуть к выпуклому экрану телевизора в попытке во всех деталях рассмотреть эти диковинные движения. Образ незнакомых мне доселе танцевальных комбинаций отпечатался на сетчатке моих глаз, как переводная картинка, как тавро, и как бы старательно я ни моргала, весь остаток дня на переднем плане в свете софитов я видела только их. Смешно сказать, но тогда я, ошарашенная и взволнованная, совершенно не понимала, как мне теперь дальше с этим жить. Словно до этого мы изъяснялись посредством наших тел на уродливом тарабарском, а тут нас познакомили с истинным и прекрасным, а главное, свободным языком тела.

Последним уроком в этот день была гимнастика, и мы, как обычно, неспешно переоделись в раздевалке; девчонки – с усталостью во взгляде, а я – с думами об увиденном, сидела неподвижно, уставившись в одну точку, будто стукнутая пыльным мешком.

– Ты чего, Большакова, паузу словила? – подседа рядом со мной Настя.
– Нет, ну ты видела? – отрешённо мычу я.
– Что видела?
– Как они двигались!
– На плёнке-то? Ещё бы. Как по мне – это всё странно. Не по-нашенски.
– Точно, не по-нашенски. Но ведь круто, скажи?
– Круто? Не знаю. Тридцать два фуэте – вот это круто.
– Я же не спорю, – соглашаюсь я, – просто это так необычно и красиво!
– Ну, может быть, хотя, как по мне, классический танец красивее. И потом, это всё у них там, за границей. У нас тут это не преподают, – со сознанием дела объясняет Настя.
– Вот жалко, знаешь! – с тоской восклицаю я. – Я бы попробовала!
– Ты для начала попробуй два пируэта чисто скрутить! Давай уже переодевайся, а то расселась, как баба на самоваре. Сейчас дежурная по этажу придёт и ускорит нас так, что мало не покажется! Окончим, дай-то бог, училище, вот тогда и попробуемся. Всего и сразу.

В декабре город замело снегом, ударили трескучие морозы и Москву-реку сковала тонкая, но упрямая корочка льда. Я же свои корочки на мозолях сдирала, не дожидаясь, пока те отвалятся сами, свидетельствуя о заживлении ранок. За две недели до экзамена по классике Нинель Михайловна устроила нам мозговой штурм, который, по её задумке, должен был собрать нашу волю в кулак, жопы – в орех, а мысли – в кучу. Отпустив концертмейстера Ниночку, она, усадив нас полукругом, принялась вышагивать перед нами взад-вперёд, сложив руки сзади в волевой замок.

– Девочки, закройте рот и откройте уши, чтобы мозг – или что там у вас вместо него, я так и не поняла за это полугодие что, но похоже, что пустота, – начал хоть что-то воспринимать наконец. Смотреть на меня, отсюда будет простекать звук, который, я надеюсь, до вас дойдёт без искажений, и пусть то, что сейчас будет произнесено мной, вы не просто услышите, но поймёте.

Она на секунду зыркнула на нас и, судя по нашим округлённым, навывкате глазам, поняла: понятно нам не будет. Но продолжила:

– Не все из вас, к моему счастью, останутся в стенах нашего училища на следующий год. Несколько человек получают двойки, а двойка у нас означает что, Горадзе?

– Отчисление, – исчезающим от такой перспективы голосом еле прошептала девочка-грузинка с огромными чёрными глазами и пушком над верхней губой.

– Я тебя не слышу, Тамара, – издевательским голосом доводила до обморока девочку Ворона.

Собрав последние моральные и физические силы, Тома набрала воздуха в лёгкие и повторила, насколько смогла, громче:

– Отчисление!

Получилось не сильно громче, а даже как-то безысходно-подвывающе.

– Правильно, – согласилась Нинель Михайловна. – Отчисление. Потому что я больше не в состоянии и, по правде говоря, совершенно не должна тянуть из вас жилы, а это в первую очередь касается тех, кто стоит у нас на левой палке. Четыре месяца я билась над вами, ползала на коленях у ваших ног, протерев две, нет – три пары прекрасных немецких брюк. А что такое достать по блату что-то из ГДР, спросите у своих матерей, они вам расскажут, на какие жертвы я пошла ради того, чтобы убрать ваш долбаный завал и привести ваш низ ног хоть в какой-то подобающий вид. Про руки я вообще молчу. Это отдельная песня, хотя в нашем с вами случае какая это песня, это стон отчаяния. И если вы через две недели не вспомните про локти, что так мило любят у нас свисать во второй позиции, словно сопли с ваших носов, когда я вас ругаю, и заметьте – совершенно заслуженно, то этого позора нам не пережить. Это я вам гарантирую. Нет, не так – с вас-то как раз что с гуся вода, а мне, пожалуй, придётся повеситься со стыда на

бельевой верёвке. Айседору Дункан задушил прекрасный французский шарф, намотавшись на колесо машины. Вы задушите меня своими кривыми граблями, или что там до сих пор торчит у вас вместо рук. Это всё, на что я могу рассчитывать от таких неблагодарных учениц, я это знаю. Я знаю даже больше: такого отвратительного, бездарного набора, как в этом году, не помню ни я, ни эти святые стены. А мои слова для вас сейчас как об стенку горох, я права, Павленко? Что ты киваешь, ты мотай на ус! Нет усов – мотай на усы Горадзе, у неё вон как хорошо растут – вдвоём наматаете и за ручку пойдёте в школу через дорогу. Что у вас по общеобразовательным предметам?

– Пятёрки, – дружно блеяли Алиса с Тамарой, стараясь не грохнуться от ужаса в обморок.

– Ну вот, видите, какие вы у меня умные! Из вас получатся отличные кто угодно, только не балерины! Вы, быть может, в сентябре перепутали сторону улицы? Так я вас провожу на правильную! Я вам всё объяснила, всему научила, но лень вперёд вас родилась. Несмотря на ужасающий, с моей точки зрения, результат, с которым мы подходим к первому экзамену, я всё-таки надеюсь, что некоторые из вас получат достойные оценки. А достойная – это у нас какая, Большакова?

Я вздрогнула всем телом.

– Тройка, – стараясь не выдавать бурлящую в себе злость и усталость от нескончаемого монолога из грязи и унижений, ответила я.

– Верно, Лиза. Именно эту оценку ты, скорее всего, и получишь. Лично я буду на ней настаивать, но если комиссия решит по-другому, прислушаюсь к её мнению. Хотя лично я считаю, что до четвёрки тебе не хватает четырёх баллов. Ты стараешься, но не туда. Я тебе это сто раз говорила: моторчик из жопы вынь и начинай танцевать душой. Ты не бесталанная девочка, я это вижу, но твой талант пока понимает больше, чем ты. Хотя это тот ещё вопрос, чего в тебе больше – таланта или патологии. Ты странная, а нам тут нужны фанатичные. Преданные своей профессии. Не вы её выбираете, а она – вас – поймите это уже наконец. Это не шутки. Это навсегда, если вы это для себя ещё не уяснили. Творческая жизнь балерины коротка, а физическая без сцены лишена всякого смысла, ведь придётся отказаться от всего: семьи, детей, друзей и родных. На одних не останется времени, другие просто не появятся в ареале вашего обитания, потому что зависть – от тупости, а тупость – от скудоумия. Хотите быть как все или хотите быть избранными? Если второе, то надо собраться, девочки. Вы физически сдуваетесь после станка, и на середину вас уже не хватает, я молчу про прыжки и пальцы. Там вообще катастрофа. Не хватает сил – открываем второе дыхание, не хватает клавиш в сердце – стучите по крышке рояля сознания. Мне всё равно. На зубах, на одном крыле, но достойно довести урок до финального поклона. Судя по вашим лицам, вы сейчас провалитесь в кататонический ступор...

Заметив маленькие белые пятнышки в уголках рта Вороны, я почему-то вспомнила цитату одного философа, которую часто любила повторять моя бабушка: «Дьявол начинается с пены на устах ангела». До ангела Вороне было далеко, на дьявола она не тянула. Так, злая училка, живущая исключительно в квадрате зала, как чёрт в табакерке. Наверное, она и не существует вне его пространства, во всяком случае, я ещё ни разу не видела её ни в коридоре, ни за стенами училища. Мы приходили на урок – она уже ждала нас в зале, о чём-то тихо разговаривая с концертмейстером; мы уходили – она оставалась, сидя на лавочке у зеркала, погружившись в свои мысли.

Устав смотреть на Ворону, я через зеркало вперила немигающий взгляд в окно, совершенно не понимая, что сейчас происходит. Судя по внутренним ощущениям, вот в этот самый момент что-то очевидно плохое, но если заглянуть в будущее, как окажется потом, то и ничего страшного. Всё было правильно. Нас просеивали через сито унижения и обесценивания, отделяя «семена» от «шлака», не годящегося для блюда, которое готовит из нас педагог. Она, по всей видимости, была одержима этой эсхатологической идеей – отделить козлиц от агнцев.

О самом главном, естественно, умалчивали. А главное заключалось в том, что после сегрегации, поставив двойку, козлиц отпускали пастись на просторные луга, щипать сочную травку, а агнцев, получивших пятёрку, запирали в амбаре под названием «Храм искусства», коллективно принося в жертву богам. Точнее, одной конкретной богине. Интересно, догадывалась ли Нинель Михайловна, что, когда агнца бьют по морде, тот ещё может формироваться как человек, но когда ему в неё плюют, он очень быстро убеждает себя, что это просто дождик? Наверное, догадывалась. Она же не оказалась в числе козлиц, мирно пасущихся на лужайке за окном академии.

Не знаю, как у других девчонок, но эта внутренняя деформация, которой мы подвергались с момента нашего появления здесь, стала вылезать из меня по отношению ко всему. Много из того, что было на самом деле чудовищным, стало казаться мне нормой. Даже нездоровая атмосфера в семье, откуда я сбежала в поисках спокойной пахоты, а попала по жуткому недоразумению или волею высших сил в дурдом.

«Так надо. Для чего-то. Пока ещё не совсем понятно, для чего и зачем, но так надо. Это не добро, но и точно не зло. Всё это словно сумерки, в которых очень хорошо видны горящие глаза хищников, притаившихся в ближайших зарослях перед смертоносным прыжком. Есть пара мгновений, чтобы удрать сверкая пятками в темноту леса».

Подтверждением всему этому служило то, что у меня кое-что стало получаться, и нет-нет да и в мой адрес долетали редкие, но столь значимые похвалы от Вороны. На других предметах, таких как народный или историко-бытовой танец, всё шло относительно ровно, чтобы сосредоточиться на главном. Педагоги смежных дисциплин, конечно, чувствовали это снисходительное отношение к ним и ревностно орали на нас даже больше, чем мы привыкли слышать на уроках классического танца. Но к этим крикам мы относились не серьёзнее, чем к жужжанию мухи, случайно залетевшей зимним днём в тёплую кухню.

Возможно, именно после этого сумбурного, но эмоционального монолога Вороны в моей душе поселилось... Нет, не сомнение. Поселились вопросы. Вопросы без ответов. Вопросы, которые будут мучить меня ближайшие восемь долгих лет. Жучки-вопросы, питающиеся исключительно корой моего головного мозга. Те самые твари, из-за которых я умом сбежала из собственного дома в цитадель искусства на Фрунзенской набережной. Или на самом деле это не я сбежала, а мои страхи сослали меня сюда, как декабриста на каторгу?

И вообще, так ли я люблю танцевать, чтобы сознательно, по собственному желанию положить на алтарь этой профессии всю жизнь? Почему я на самом деле оказалась здесь? От чего убежала? От вечно пьяного отца и молчаливой, бесхребетной матери? От тихого невроза, распространившегося по всей квартире, как невидимая, прячущаяся от глаз в щелях пола и под обоями чёрная плесень, вдыхая споры которой ты поначалу не замечаешь ничего плохого, а когда весь организм уже съеден изнутри этой заразой, сделать что-либо уже слишком поздно?

Что случилось тем зимним вечером? Мне просто захотелось, чтобы меня кто-то увидел. Увидел по-настоящему. Не как ребёнка, который появился на свет «потому что», будучи, как я узнаю, повзрослев, скорее тягостным бременем, нежели радостью отцовства и материнства, а как отдельно стоящую от этого мира личность. Пусть маленькую, несуразную, ещё не до конца сформировавшуюся, но всё-таки личность, которую можно просто любить. Но полюбить человека, тем более ребёнка, постороннему человеку невозможно. Умилением это чувство не заменить. И я глупо подумала: быть может, надо её заслужить? Чем-то. Чем-то, может быть, хорошим. Стать в его жизни кем-то важным, кем-то значимым, непохожим на всех других, уникальным. И тогда тебя начнут видеть. Видеть. По-настоящему видеть и слышать. Чужой человек на стуле в спортивном зале – почему не кандидатура на роль того самого, которому я покажусь? Покажу своё естество, свою натуру – такую, как есть? Хоть бы и посредством танца, через движение. Движение моей мысли, выраженное с помощью языка, в моём случае лучше было не показывать – отпугну. Корявые фразы, точно передающие корявые мысли, – нелучший

способ быть услышанной. Лучше уж быть увиденной. И он увидел. Увидел нечто большее, чем просто странную, угловатую, нелепо двигающуюся девочку. То, что жило внутри меня. Танцующее существо, завёрнутое в кокон сомнений и страхов. Из которых, как он подумал, должна родиться прекрасная, порхающая над сценой бабочка-балерина. Но он был не Пигмалион, а я – не Галатя, и он передал меня в руки настоящим профессионалам по перевоплощениям, жрицам храма искусства, самовольным пленницам Терпсихоры.

Но самовольным ли? Как и у меня, у всех разные причины появления в этом храме, по крайней мере, видимые: кого-то, с детства танцующего при первых звуках музыки из радиоточки, привела за руку мама, кто-то, как я, неосознанно бежал из дома, чьи-то родители, сами мечтавшие когда-то о сцене, воплощали свои несбывшиеся мечты в детях. Мы все здесь случайно. С одной стороны. А с другой – нет. Мы все, очутившиеся в этих стенах, с рождения имели сюда входной билет, подаренный матерью-природой: уникальные физические данные, идеальный музыкальный слух – и пустоту вместо личности, заменив её сосудом под названием чувствилище, который, если очень повезёт, Терпсихора заполнит десятками разных образов: Белый лебедь, Жизель, Сильфида, Китри. Выбирай характер, надевай маску – и вперёд, на сцену. Проживи эту яркую, красочную жизнь на площади древнего города или восстань из могилы в поисках мести. Очаруй принца, влюбись до беспамятства в цирюльника, привидься в грёзах доблестному рыцарю, возглавь восстание на парижских улочках.

А когда пыльный занавес закроется, стихнут аплодисменты и зритель разойдётся кто куда, по своим настоящим делам, в свою реальную жизнь, ты снимешь помятую пачку и пропитанный потом костюм, повесишь маску очередной героини очередного балета на ржавый крючок в своей тесной, тусклой гримёрке и посмотришь в зеркало. Всё, чем наполняла тебя муза, ты только что вылила фонтаном эмоций, актёрской игрой и виртуозной техникой, достойной восхищения, в зрительный зал. Отдала без остатка всё, что было внутри чувствилища, в его темноте, людям, чьи силуэты едва различимы из-за слепящего света софитов и рампы. И в зеркале ты видишь кого? Себя? Но кто ты? Кому принадлежит эта рука, на которой с такой лёгкостью меняют перчатки в зависимости от моды и погодных условий? В чём сущность артистки, если ни о какой сущности и говорить не приходится, ведь место для чего-то индивидуального, принадлежащего только ей, всегда занято кем-то другим? О какой самости или личности может идти речь? Я что-то чувствую. Боль, страх, холод и жару. Я чувствую одиночество и тоску. Я чувствую злость, беспомощность и ненависть. Но кто такая эта «я»? Я не знаю. Этого я не чувствую. Я не чувствую себя. Я не знаю себя, а этот мир не знает и не чувствует меня. Так, может, бабашка Лиза Большакова для этого так рвётся на сцену, чтобы заявить этому миру о себе? Или среди чужих судеб, историй и личностей найти наконец свою самость?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.